



СЕМЕРО ЖДУТ

СОДЕРЖИТ
НЕЦЕНЗУРНУЮ
БРАНЬ

кровь, пепел и медные скобы

Ершов Антем

18+

A Yershov

Семеро Ждут

<https://litres.ru/74140624>

SelfPub; 2026

Аннотация

Магии не существует. Демоны не приходят на зов, заклинания — сказки для толпы. Скальпель, точное знание анатомии и кусок меди делают с человеческим телом то, на что не способен ни один маг. Хирургия здесь — это религия и оружие. Церковь Пламенного Ока ревностно охраняет свои секреты в подвалах.

Система работала пока верховного архиепископа не нашли мертвым в собственной исповедальне. Язык вырван, на груди аккуратно выжжен круг с семью лучами. Знак старой ереси, ради уничтожения которой двадцать лет назад стирали в пепел целые поселения. Кто-то начал задавать вопросы.

Цепная реакция запущена. События стягивают к эпицентру тех, кому лучше бы оставаться в тени. Дознаватель, физиологически неспособный чувствовать боль. Ветеран карательного полка, прячущийся в горах. Наемник помешанный напорядке. Беглянка, чью семью сожгла инквизиция. Умиравший политик и мать, разговаривающая с пустотой. У каждого свой счет к миру и своя цена. Все дороги ведут на холодный север. Туда, где Семеро ждут.

Содержание

Глава 1. Старик и его гора.	5
Глава 2. Язык безъязыкого.	21
Глава 3. Цепные псы.	33
Глава 4. Невеста без жениха.	45
Глава 5. Работа есть работа	61
Глава 6. Пешка на белом поле.	79
Глава 7. Тень Матери.	91
Конец ознакомительного фрагмента.	108

А Yershov Семеро Ждут

Глава 1. Старик и его гора.



- Кэл Морвен -

Утро в горах Венмарка всегда пахнет одинаково - мокрым камнем, горьким дымом из плохой трубы и козлиным дерьмом, которое, в свою очередь, тоже всегда пахнет одинаково, и в этом есть что-то, должно быть, утешительное, если задуматься, хотя Кэл Морвен давно перестал задумываться над утешительным и неутешительным, потому что разница между ними в его возрасте стала примерно такой же, как разница между двумя козлиными шариками, лежащими рядом у порога.

Ему было пятьдесят. Спина болела. Левая рука - та, что от локтя и дальше, - тоже болела, хотя её уже двадцать лет как не было, и это, конечно, было смешно, если бы кто-нибудь смеялся, но Кэл не смеялся, по крайней мере, над этим, потому что над этим он пробовал смеяться первые лет пять, и каждый раз выходило так, будто кто-то чужой хихикнул у него в горле и тут же подавился. Старая шутка. Каждый раз не смешная.

- Вставай, Гнедая, - сказал он в сторону печки.

Коза подняла тяжёлую бородатую голову, посмотрела на него жёлтым продольным зрачком - и снова легла. Кэл и не ждал другого ответа. Лет десять он разговаривал с козой, и за все эти годы она ни разу его не перебила, ни разу не вставила своего слова, ни разу не попросила чего-то, кроме сена, и, в сущности, это был лучший собеседник из всех, что у

него когда-либо были, включая двух жён, одного сержанта и одного Бога, который, впрочем, не отвечал никогда, что делало Его похожим на козу, только без пользы молока.

Он сел на лавке, и суставы хрустнули так, будто кто-то наступил на сухие ветки. Деревянный протез - тяжёлый, из ясеня, с прикрученным медной проволокой охотничьим ножом - стоял у стены, прислонённый, как верный пёс, и Кэл привычным движением закрепил его на обрубке левой руки, потянул ремни, крикнул. Холодный яшень прижался к телу. Через минуту-другую нагреется и перестанет напоминать о себе. Или нет. Иногда он напоминал всю ночь, и тогда Кэл лежал и думал о людях, которых убил, и о тех, которых не убил, но мог бы, и о том, который убил, не имея на то никакого права, и список был длинным, и конца у него не предвиделось, и это было, должно быть, самое обидное - что у списка нет конца, потому что конец полагается только тем, кто начинает что-то забывать, а Кэл не забывал ничего.

Снаружи подмораживало. Октябрь в Венмарке - это когда снега ещё нет, но все уже знают, что он идёт, и скотина, и люди, и куры, и даже камни, кажется, знают, и от этого знания становятся чуть более серыми, чем были. Кэл вышел по нужде, поссал на старую ель, посмотрел вниз. Долина под хижиной лежала в тумане, как миска с простоквашей, и где-то там, на дне, в двух днях пути, была тропа на Карренхолл - тропа, по которой он не ходил двадцать лет, тропа, о которой старался не думать и почти преуспел, почти, потому что

почти в его положении было потолком, и выше почти он не поднимался уже давно, и, кажется, был доволен.

- Не сегодня, - сказал он в пустоту. Просто чтобы услышать собственный голос и убедиться, что он ещё есть, потому что были такие недели, особенно в конце зимы, когда он начинал сомневаться.

Гнедая вышла следом и с важным видом принялась щипать жёсткую горную траву. У неё были жёлтые глаза, бурая шерсть и характер, как у старой вдовы, которой всё равно, но которая хочет, чтобы вы знали, что ей всё равно. Кэл подоил её, налил молока в берестяной ковш, поставил на угли. Потом добавил овсяной муки, размешал деревянной ложкой. Каша. Та же каша, что вчера, позавчера, и десять лет назад, и двадцать, и, видит Око, он не помнил, чтобы она когда-то была другой. Он ел медленно, без удовольствия, но и без отвращения. Еда была топливом. Топливо было жизнью. Жизнь была чем-то, что он пока не нашёл смелости прервать, и это, в общем, было всё, что он мог о ней сказать, и больше ему, кажется, нечего было добавить.

Собака залаяла где-то внизу, на тропе. Кэл поднял голову. У него не было собаки. Значит, чужая. Значит, гости. А гости в горах Венмарка в октябре - это либо заблудившиеся охотники, которым он, конечно, не поможет, потому что он не помогает, либо сборщики налогов, которые никогда не забираются так высоко, но если забрались - значит, кто-то их послал, и послал не за налогами, либо беда, и третье было

вероятнее первых двух, и Кэл это знал, потому что жил достаточно долго, чтобы знать, что беда приходит тройко, но уходит всегда одним способом - через чужую кровь, чаще всего его собственную, и он медленно дожевал кашу, не топясь. Если беда - она подождёт. Беда вообще любит подождать, особенно когда знает, что ты никуда не денешься.

Первым из тумана вынырнул мул, гружёный выюками. За ним - второй. За мулами - трое солдат в серых плащах, с короткими мечами и алебардами, притороченными к сёдлам. Седла, однако, были пусты - шли пешком, вели мулов под уздцы, и шли тяжело, по-солдатски, с тем особым усталым видом, какой бывает у людей, которым заплатили, но мало, и которые это знают, но молчат, потому что альтернатива - остаться без работы. А впереди - четвёртый, в чёрной рясе с красной окантовкой. Кэл моргнул. Брат-капеллан. Церковь Пламенного Ока. Вот это уже совсем не к добру, потому что церковь в горы Венмарка не лазает просто так, и тем более в октябре, и тем более к нему.

- Это тут, - сказал один из солдат, не своим голосом, а тем тоном, каким говорят люди, которым заплатили, но мало.

- Я вижу, - ответил капеллан.

Кэл стоял у порога хижины и ждал. Гнедая подошла и уткнулась мордой ему в колено. Он, не глядя, почесал ей за ухом. Они оба смотрели, как четверо мужчин поднимаются по склону, и Кэл подумал, что коза, пожалуй, умнее его, потому что чует опасность раньше, и не делает вида, что ниче-

го не чувствует, и не идёт на контакт с тем, что пахнет.

- Морвен? - спросил капеллан, когда они подошли ближе.

- Кэл, - сказал Кэл.

- Извините. Брат Морвен?

- Просто Кэл. Я уже давно не брат. И давно не Морвен, если на то пошло. - Он посмотрел на капеллана внимательнее. Тот был молод, лет тридцати, с тонким бескровным лицом и тем особенным взглядом, который бывает у людей, привыкших смотреть на других сверху вниз, не вставая со стула. - Чего надо?

- Брат Бенедикт, - сказал капеллан и слегка наклонил голову. - Я послан архиепископом Эльдредом. - Он помолчал, и Кэл понял, что сейчас будет плохо, потому что пауза была длиннее, чем нужно, а длиннее, чем нужно, паузы бывают у людей, которые готовят тебя к чему-то, что ты не захочешь слышать. - Нам нужен проводник.

- Нет, - сказал Кэл.

- Вы даже не дослушали.

- Мне не надо дослушивать. Нет. Гнедая, пойдёшь погрызи что-нибудь.

Коза не пошла. Она осталась стоять, и Кэл подумал, что она умнее его, потому что чувствует опасность раньше, и не делает вид.

- Брат Бенедикт, - сказал Кэл, - это мой дом. Не парадный зал. Я не обязан вас угощать. Но если хотите воды - вон ручей, сами налейте. Если хотите каши - нет, я всё съел. Если

хотите духовной беседы - ищите другого. Я с Господом не разговаривал лет двадцать, и Он со мной тоже. Полагаю, мы оба довольны.

Капеллан не моргнул. Солдаты переглянулись. Старший, с усами и шрамом через губу, положил руку на эфес меча. Жест был дешёвый, театральный, но Кэл его заметил, и подумал: дешёвый жест у дорогого человека - это, по сути, комплимент, потому что человек, который не знает, что его жест дешёвый, обычно и стоит дёшево, а этот, судя по всему, стоял дороже, чем хотел показать.

- Мы идём на север, - сказал Бенедикт. - К Карренхоллу.

Слово упало между ними, как камень в тихую воду. Кэл не шевельнулся. Он давно заметил: когда тебе говорят самое страшное слово, тело замирает само, без твоего участия, и это не храбрость, и не мужество, и не стоицизм, ничего подобного, это то, что бывает за секунду до того, как скотина понимает, что её ведут на бойню, и Кэл был достаточно честен с собой, чтобы знать, что он - скотина, и что бойня, и что ведут.

- Карренхолла нет, - сказал он.

- Разумеется. Его нет уже двадцать лет. Но тропа ещё есть. И подземелья ещё есть. И мы должны туда дойти.

- Зачем?

- Это, - сказал Бенедикт с тонкой улыбочкой, - вас не касается. Вас касается только то, что вам заплатят двадцать золотых талеров. И что архиепископ лично просит. И что если

вы откажетесь...

- Что?

- ...что если вы откажетесь, - продолжил Бенедикт тем же ровным голосом, - то архиепископ сочтёт это весьма при-
скорбным. И сообщит о вашем местонахождении людям, ко-
торые давно вас ищут. Не только церкви.

Кэл молчал. Он слышал, как бьётся сердце у него в гор-
ле. Гнедая ткнулась в ладонь, и он машинально погладил её.
Двадцать лет. Двадцать лет он прятался вот тут, в горах, и
думал, что все забыли, что списки потеряли, что свидетели
перемерли, что козья жизнь в хижине - это достаточно, что-
бы искупить, и, может быть, даже было бы достаточно, ес-
ли бы искупление работало как монета, которую кладёшь на
стол и получаешь за неё покой, но покой не работает как мо-
нета, и Кэл это знал, и всё равно двадцать лет делал вид, что
не знает, и вот теперь - кто-то вспомнил.

- Кто ищет? - спросил он.

- Многие. Семьи тех, кто умер в Карренхолле. Хотя... - Бе-
недикт позволил себе улыбнуться чуть шире, - ...семьи - это
мягко сказано. Там ведь не только еретики были, Морвен.
Там были дети. Маленькие дети. Их матери до сих пор живы,
кое-кто. И у них длинная память.

Кэл знал. Он всё знал. Он и сам был из тех, у кого длин-
ная память, и его память была такой длинной, что иногда он
думал, не лучше ли её укоротить, ножом, например, или ве-
рёвкой, но каждый раз, когда он доходил до этой мысли, что-

то в нём - то ли трусость, то ли упрямство, то ли просто привычка - не давало ей дойти до конца, и он просыпался утром, и варил кашу, и чесал козу за ухом, и жил дальше, как будто ничего, как будто можно.

- Я не виноват в Карренхолле, - сказал он. И тут же, раньше, чем договорил, понял, как это звучит. Глупо. Трусливо. По-собачьи. И, что хуже всего, неоригинально, потому что это, кажется, говорили все, кто когда-либо делал то, что делал он, и говорили одинаково, и ни один не верил в то, что говорит, и Кэл не верил тоже.

- Разумеется, нет, - сказал Бенедикт. - Никто из нас ни в чём не виноват. Мы все только выполняли приказы. - Он помолчал. - Но детей резали не приказы, Морвен. Детей резали руки. И одна из этих рук, если мне не изменяет память, была ваша.

Кэл не ответил. Что тут ответишь. Он и сам иногда так себе говорил, ночами, когда протез ныл, а печка остывала, и ветер шумел в трубе, как голоса всех, кто должен был бы ещё жить, а не шуметь. Что это приказы. Что командир велел. Что иначе бы насрали трибунал. Что Палаточный полк не оставляет свидетелей. Что такова война. А потом вспоминал лицо девочки лет шести - она выбежала из горящего дома и бежала к нему, и он не помнил, ударил ли её мечом или просто толкнул, но она упала и не встала, и в тот момент он подумал: Хоть бы не помнила меня, - и понял, что если бы она выжила, то помнила бы, конечно помнила бы, и потом,

двадцать лет, он иногда думал, что лучше бы она выжила и помнила, потому что тогда был бы кто-то, кто помнит, и кому можно было бы заплатить, или от кого можно было бы получить удар, или хотя бы просто сказать да, это был я, а так не было никого, только он и его голова, и его коза, и его каша.

- Архиепископ, - сказал он наконец. - Эльдред. Это который?

- Вы его знали. Молодой каноник, был при полку. В тот год, когда...

- Помню, - оборвал Кэл.

Он помнил. Молодой каноник с тонким лицом и постоянной полуулыбкой. Стоял в стороне, когда вырезали деревню. Молился. Или делал вид, что молился. Кэл не помнил, чтобы каноник хоть раз поднял оружие. Но помнил, как тот подошёл к нему потом, ночью, у костра, и сказал тихо: Вы хорошо послужили Господу сегодня, брат Морвен, - и Кэл тогда впервые за долгое время заплакал, не от стыда, и не от горя, а от этого голоса, потому что голос был тёплый, как помазание елеем по свежей ране, и от тёплого голоса хотелось выть, и Кэл выл, и каноник стоял рядом, и кивал, и улыбался, и ничего не делал, и в этом ничего не делал было, должно быть, самое страшное, что Кэл видел в тот день, а он видел в тот день многое.

Каноник тогда ещё что-то записывал в маленькую книжку. Кэл помнил это совершенно точно. Сидел у костра, скре-

стив ноги, и записывал. Не проповедь. Не молитвы. Что-то другое. Страницы были тонкие, желтоватые, и перо скрипело по ним с таким сосредоточенным вниманием, будто он не свидетелей уничтожения описывал, а анатомию чего-то пересчитывал - где что лежит, что к чему крепится, что из чего выходит. Тогда Кэл не знал этого слова - анатомия. Он просто подумал: странно. Но странного в тот день было так много, что один странный каноник с книжкой просто затерялся, как одна песчинка в куче песка, и Кэл не думал о нём двадцать лет, и вот теперь, видимо, пришло время подумать.

- Он что, сам архиепископ теперь? - спросил Кэл.

- Уже пятнадцать лет. Удивлены?

- Ничему не удивляюсь. - Кэл сплюнул. - Ладно. Допустим, я подумаю. Что вам надо в Карренхолле? Реликвии? Тела? Сокровища?

- Вас это не касается.

- Это меня касается. Я туда не поведу никого, пока не узнаю, зачем. Я не сдохну за вашу тайну.

Бенедикт помолчал. Солдат со шрамом переступил с ноги на ногу. Кэл видел, что капеллан считает про себя, просчитывает, сколько можно рассказать, и как расставить слова, чтобы сказать как можно меньше, и чтобы это как можно меньше при этом прозвучало как можно больше, и Кэл подумал, что церковь, видимо, за эти годы научилась многому, и в первую очередь - искусству недоговаривать с таким видом, будто договариваешь.

- Ересь, - сказал Бенедикт наконец. - Мы ищем доказательства ереси. Под Карренхоллом, по нашим сведениям, есть старое подземелье. Там, возможно, скрываются Семеро.

- Семеро, - повторил Кэл.

Он слышал это слово. Кто не слышал. В тавернах шептали, в храмах кричали, на площадях жгли. Ересь Семерых, демоны под Грандмарком, чёрные ритуалы, тайные знаки. Кэл в это не верил. Демонов не бывает. Бывают только люди с ножами и без совести, и этого, в сущности, вполне достаточно, чтобы объяснить всё, что происходит в мире, и всё, что произошло, и всё, что произойдёт, и Кэл не видел смысла искать сверхъестественное там, где обычного зверства хватает с избытком.

- Хорошо, - сказал он. - Допустим, я поведу. Что потом?

- Потом вы возвращаетесь сюда. С деньгами. И с благодарностью архиепископа. И мы забываем про Карренхолл. Все. Окончательно.

- Звучит слишком хорошо, чтобы быть правдой.

- Это потому, что вы давно не имели дела с церковью, Морвен. Мы научились быть щедрыми. Когда хотим.

Кэл посмотрел на Гнедую. Коза смотрела на него. Жёлтые глаза. Спокойные. Без осуждения. Животные, в сущности, единственные, кто никогда не осуждают, потому что не умеют, или потому что им всё равно, и, может быть, одно и то же.

- Сколько дней пути? - спросил он.

- До Карренхолла - неделя. Назад - неделя. Плюс работа

на месте. Дней десять.

- А зимой?

- Мы должны вернуться до снегов. Архиепископ торопится. - Бенедикт чуть наклонил голову. - У него... причины торопиться.

Кэл кивнул. Он понял. Он не понял, что именно, но понял, что дело нечисто, и что церковь не гоняет людей через горы в октябре ради нескольких старых рукописей, и что тут что-то другое, но - не его дело. Его дело - дойти и вернуться. Его дело - выжить ещё раз. Может быть, в последний, и это было бы, в каком-то смысле, удачей, потому что последний раз - это всё-таки конец списка, а конца списка у него не было двадцать лет, и получить конец списка, может быть, лучше, чем ещё двадцать лет варить кашу и чесать козу, и ждать, что кто-то вспомнит.

- Кормлю себя сам, - сказал он. - Мулов ваших не веду. Оружие ваше - ваше. Приказы отдаю я, пока мы в горах. Если ваш сержант, - он кивнул на усатого, - попытается меня послушаться, я его брошу. Идёт?

- Идёт, - сказал Бенедикт после паузы. - Архиепископ предвидел ваши условия. Он согласен.

- А если нет?

- Тогда вы отказываетесь. И мы уходим. И завтра здесь будут другие люди. С другими разговорами.

- Понял. - Кэл посмотрел на хижину. На печку. На ковш с кашей, оставленный на углях. На Гнедую. - Дайте мне час.

Надо козу пристроить.

- У вас есть сосед?

- Есть. Старый Хольгер, ниже по склону. Берёт коз на постой. За молоко.

- Хорошо. Через час - выходим.

Кэл кивнул и вошёл в хижину. Сел на лавку. Положил протез на колени. Посмотрел на стену, где висел старый поясной меч, завёрнутый в промасленную тряпку. Двадцать лет он туда не дотрагивался. Двадцать лет меч висел, как насмешка, и как обещание, и как угроза, и как всё сразу, и как ничто из этого.

- Ну здравствуй, - сказал он ему.

Меч не ответил. Кэл снял его со стены, развернул. Лезвие было в масле, без ржавчины. Он смазывал его каждый месяц, сам не зная зачем. Может, потому что боялся, что однажды понадобится. Может, потому что некоторые привычки не умирают, даже когда человек уже наполовину мёртв, а привычка - это единственное, что у него осталось, кроме козы.

Он положил меч в старые ножны, приторочил к поясу. Потом взял котомку, положил туда огниво, сухари, кружку, мешочек с солью. Поднялся. Гнедая смотрела на него.

- Я вернусь, - сказал он.

Он знал, что врёт. Или, по крайней мере, не знал, что не врёт. Но козе можно было соврать. Коза не обидится. Коза умеет прощать, в отличие от людей, в отличие от Бога, в от-

личие от того, что Кэл носил в голове и что не прощало никогда.

Кэл вышел наружу. Солнце стояло уже высоко и било в глаза. Брат Бенедикт стоял у мула, перебирал чётки. Солдаты курили. Усатый посмотрел на Кэла и ухмыльнулся. Кэл не ответил. Ухмыльнется потом, когда поймёт, в какое дерьмо они все лезут. А пока - пусть ухмыляется. Это последний месяц, когда у него есть на это силы.

- Идём, - сказал Кэл.

Они двинулись по тропе вниз. Кэл шёл первым, как и положено проводнику. Брат Бенедикт - за ним, рядом с мулами. Солдаты замыкали строй, и Кэл слышал, как они переговариваются вполголоса, жалуются на холод, на мула, на него, и думал: ну вот, опять, опять те же лица, те же голоса, та же тропа, и через неделю - то же место, и, может быть, тот же запах, который он двадцать лет не мог ни забыть, ни описать, ни выбросить из головы, и который ждал его внизу, в подземельях, где они, по словам капеллана, что-то искали, и Кэл подумал: что бы они там ни искали, оно найдёт их раньше, чем они найдут его, потому что Карренхолл не место, где ищут, это место, где теряются.

На первом же повороте Кэл остановился и оглянулся. Хижина ещё была видна - маленькое тёмное пятно на склоне. У порога стояла Гнедая и смотрела им вслед. Долго. Потом отвернулась и принялась щипать траву. У неё были свои дела. Коза всегда знает, что делать. Люди - никогда.

Кэл сплюнул и пошёл дальше. Через полчаса хижина скрылась в тумане. Через час - он перестал оглядываться. К этому тоже привыкаешь. К этому привыкаешь, как ко всему остальному - к каше по утрам, к холоду в костях, к запаху горелого мяса в голове, который не выветрить ничем, ни дождём, ни снегом, ни двадцатью годами.

Глава 2. Язык безъязыкого.



- Вэл Гаудер -

Дорога от Холмового монастыря до Грандмарка - три дня верхом. Без перерывов. Без ночёвок в гостиницах. Без лишних остановок. Брат-дознаватель Вэл Гаудер не спал. Не потому, что торопился к телу. Архиепископ Эльдред уже мёртв. Никуда не денется. Сон для Вэла - физиологический излишек. Двенадцать лет без болевых сигналов научили его обходиться минимумом. Четыре часа в сутки. Лошадь - шесть. Остальное - работа. Работа состоит в наблюдении. Вэл наблюдает, как другие люди спят, едят, боятся, чувствуют. Вэл записывает. Это, в сущности, и есть вся его профессия.

Грандмарк открылся с холма. Белый город. Базилика Пламенного Ока в центре - белый камень, выскобленный до блеска, без единого пятна сажи. Королевский дворец - белый мрамор. Инквизиторский блок - белая известка, обновляемая каждую неделю. Даже трущобы на востоке - и те стараются белить фасады по большим праздникам. Вэлу нравилось. Он не понимал, почему. Может быть, потому что на белом всё видно. Кровь. Грязь. Подозрение. Грандмарк не прятал своих мёртвых. Он выставлял их напоказ, как образцы в кунсткамере.

У ворот собора его встретил послушник. Молодой, бледный, с тонкими губами, которые ни разу не улыбнулись. На нём белая ряса с красной окантовкой - цвет скорби по ар-

хиепископу. Вэл слез с лошади. Ровно. Без кряхтения. Без стопа. Ноги держали. Спина держала. Всё тело держало. У него не было ни одной причины кривиться, и он не кривился. Двенадцать лет назад он упал с лошади на охоте и не заметил, что сломал два ребра. Заметил через неделю - синяк на боку и хруст при дыхании. С тех пор он знал: его тело - инструмент, который не ломается. Точнее, ломается, но не сообщает ему об этом.

- Брат Гаудер? - спросил послушник.

- Брат Гаудер. Где тело.

Не вопрос. Утверждение. Он не задавал вопросов, на которые не хотел знать ответа. Хотел он знать другое. Где тело. В каком положении. При какой температуре. Сколько прошло часов. Кто прикасался. Кто дышал рядом. Это - данные. На данных строится работа.

- В исповедальне, брат.

- Разумеется. В исповедальне. Покажите.

Он шёл по собору. Шаги гасли на шерстяных коврах. Собор был бел. Стены - белы. Колонны - белы. Витражи - прозрачные, без цвета, пропускали ровный рассеянный свет, без мерцания. Пахло озоном - от свечей особого состава, которые горели ровно и не коптили. Пахло карболкой - братья-уборщики протёрли пол утром, как каждое утро. Пахло морозом - сквозняки из подземелий охлаждали главный неф. Никакого ладана. Никакого воска. Никакого перегара. Грандмаркский собор был операционной. Вэлу было здесь

хорошо. Здесь, в отличие от мира, всё было видно.

У входа в исповедальню стоял старший дознаватель брат Морен. Тонкий. Выцветший. В белой перчатке на правой руке - между допросами меняет. Вэл знал эту привычку. Сам делал так же.

- Гаудер, - сказал Морен. - Рад, что доехал.

- Я тоже рад, брат. Где именно тело. В каком положении. Кто прикасался.

- Лицом вверх. На месте кающегося. Стихарь расстёгнут, но не снят. К нему прикасался только я. В перчатках. И брат-лекарь Освальд - проверял пульс и температуру печени. То же в перчатках.

- Хорошо. Температура печени.

- Тридцать четыре и три. На момент осмотра - около двух часов назад.

Вэл кивнул. Двадцать два градуса окружающей среды. Тело остывает на полтора градуса в час. Печень - наиболее точный индикатор. Тридцать четыре и три. Минус тридцать семь - два и семь. Делим на полтора - около двух часов с момента, когда Освальд измерял. Плюс два часа до того - время смерти. Итого: четыре-четыре с половиной часа назад. Если сейчас одиннадцать утра, смерть - между шестью тридцатую и семью. Он записал это в блокнот. Аккуратным, мелким, абсолютно ровным почерком. Блокнот - кожаный, в тёмно-синей обложке. Перьевая ручка - стальная, с тонким наконечником. Он носил их в специальном кармане рясы,

нагрудном, застёгнутом на пуговицу. Туда же - запасной пузырьёк с синими чернилами.

Он толкнул дверь исповедальни. Вошёл.

Исповедальня была маленькой. Белые стены. Белый каменный пол. Деревянная перегородка - некрашенная, светлого дуба, протёртая до блеска. Архиепископ Эльдред лежал на полу, на месте кающегося, лицом вверх. На нём был парадный алый стихарь с золотым шитьём. Цвет - единственное яркое пятно в белой комнате. Края шитья пропитались тёмно-красным. Но не размазались. Братья-уборщики уже работали: вокруг тела лежали белые тряпицы, всё ещё влажные. Они подложили их, чтобы кровь не протекла на камень. Это хорошо. Камень впитывает. Ткань - нет.

Вэл присел на корточки рядом. Колени сгибались беззвучно. Он не чувствовал, как холод пола проходит через ткань рясы на коленях. Он не чувствовал холода вообще - только температуру как факт, фиксируемый кожей, но не переживаемый как дискомфорт. Это, наверное, единственное, чего он лишён, чего другие имеют. Холод. Жар. Боль. У него были вместо них - наблюдения.

Эльдреду было шестьдесят три. Выглядел на свои шестьдесят три. Лицо спокойное. Почти умиротворённое. Кожа - восковая, с лёгким желтоватым оттенком. Этот оттенок Вэл знал. Он видел его у людей с поражением печени и поджелудочной. У Сэндэра вэн Доля - такой же. У стариков, которые долго принимают опиаты. Интересно. Он записал: Кожа

- восковая, желтушная. Возможная гепатопатия. Сравнить с образцами канцлера.

Языка во рту не было. Вместо языка - тёмная полость, запёкшаяся по краям. Вэл наклонился ближе. Не морщился. Запах его не беспокоил - он не мог его оценить как плохой. Он мог оценить его как характерный. Характерный для гниющей крови и ферментов слюнных желёз. Он записал: Язык отсутствует. Края раны рваные - удаление вручную или крюком, не щипцами. Post mortem - отсутствие кровоподтёков на дёснах, отсутствие аспирации крови в лёгких.

- Post mortem, - сказал он вслух, ровно.

- Что? - спросил Морен из-за его спины.

- Язык вырван посмертно. Нет аспирации. Нет отёка. Нет рефлекторного кровотечения, какое было бы при жизни. Кто-то очень хотел, чтобы архиепископ молчал. Но мёртвый архиепископ и так молчит. Значит - кому-то было важно, чтобы молчание было видимым. Это не убийство. Это - послание.

Вэл расстегнул стихарь. Золотые пуговицы, тонкая работа. На груди архиепископа, чуть левее сердца, было клеймо. Свежее. Ещё припухшее по краям, но без признаков активного воспаления. Нанесено при жизни, в последние минуты. Круг с семью лучами, расходящимися от центра. Вэл смотрел на него три секунды. Потом - четыре. Потом - пять.

Это был не знак Семерых. Это было - клеймо. Хирургическое. Такое оставляет раскалённый металл, приложенный на

две-три секунды к коже через влажную ткань. Ровный круг, симметричные лучи. Никакой еретической неровности, никакой дрожащей руки. Кто-то очень опытный приложил это. Кто-то, кто много раз клеймил. Или много раз прижигал. Или и то, и другое. Вэл записал: Клеймо. Техника - прижигание. Длительность - 2-3 секунды. Температура - высокая, но контролируемая. Рука - уверенная. Гипотеза: исполнитель имел хирургический опыт.

- Гаудер, - Морен понизил голос. - Это не еретики.

- Я вижу.

- А кто?

- Я ещё не знаю. Но я знаю, что это не деревенщина с лопатой и не фанатик с ножом. Это - профессионал. Профессионалы не вырезают языки из ненависти. Они вырезают их из протокола.

Он встал. Ровно. Без помощи рук. Обошёл тело кругом. Ногти на левой руке архиепископа - обломаны. Под ними - синее. Вэл присел снова. Поднёс лицо ближе. Понюхал. Синие чернила. Свежие. Не простые - голубая индиго-краска, какой пишут в медицинских трактатах. Он знал этот запах. У него самого - такой же пузырёк в кармане.

- Брат Морен, - сказал Вэл. - Эльдред писал ночью.

- Я заходил в его келью. Чисто.

- Писал здесь. Или у него отняли то, что он писал. И отняли вместе с языком. Потому что он мог бы сказать, что писал. А без языка - уже не скажет.

Вэл записал. Потом - ещё одну запись: Синяя краска под ногтями. Индиго. Та же, что используется в анатомических атласах. Запросить у библиотекаря - какие книги в соборе написаны или проиллюстрированы этой краской.

Он снова присел. На этот раз - к рукам. Левая кисть Эльдредра была сжата в кулак - посмертно, в виде руки акушера: пальцы приведены, большой прижат. Знакомая картина. Вэл видел её - у Сшитых. У тех, у кого удалены паращитовидные железы. У тех, у кого - гипокальциемия. Он осторожно, двумя пальцами, разжал мизинец архиепископа. Сустав поддался - посмертное окоченение ещё не установилось. Но - форма кисти. Положение пальцев. Точно такое, какое он видел в протоколах. Он записал: Левая кисть - *manus obstetricia*. Подозрение на гипокальциемию. Сопутствующие признаки - *subicterus* кожи. Гипотеза: у Эльдредра была удалена паращитовидная железа. Когда - неизвестно. Кем - неизвестно. Запросить у брата-лекаря Освальда данные о здоровье архиепископа за последние 5 лет.

Он посмотрел на Морена. Морен стоял у двери, прижавшись спиной к белой стене, и его лицо имело тот особенный цвет, какой бывает у теологов, когда они сталкиваются с физиологией. Серый. Восковой. Почти такой же, как у Эльдредра.

- Гаудер, - сказал Морен. - Что вы делаете.
- Я считаю, - ответил Вэл. - Я всегда считаю. Это - работа.
- Вы говорите так, как будто Эльдред - подопытный.

- Эльдред - тело. Все тела - подопытные. Это - не оскорбление. Это - метод.

Он поднялся. Подошёл к окну исповедальни - единственному, незастеклённому, с белой деревянной решёткой. Из него был виден главный неф. Братья в белом проходили по нему - молча, не оглядываясь. Вэл смотрел на них - секунду, две, три. Потом - повернулся обратно к телу. Записал последнюю заметку на сегодня: Подозрение: Эльдред не был тем, за кого себя выдавал. Подозрение: Эльдред был - хирург. Подозрение: Эльдред был - пациент. Гипотеза: одно не исключает другого. Гипотеза: хирург, который оперировал себя - наиболее интересный тип субъекта. Необходимо - келья. Необходимо - бумаги. Необходимо - образцы тканей при вскрытии.

- Брат Морен, - сказал Вэл. - Я хочу видеть келью.

Он работал ещё двадцать минут. Зарисовал клеймо в блокнот - точно, с пропорциями, с указанием расстояния от соска до центра круга. Зарисовал края раны во рту. Зарисовал расположение тела. Каждая зарисовка - с подписью, датой, временем. Когда закончил, аккуратно закрыл блокнот, протёр перчатки белой тряпицей, сложил тряпицу вчетверо, убрал в левый карман. Снял перчатки. Положил в специальный мешочек для стирки. Достал новые - из правого кармана. Надел. Эта процедура была для него такой же естественной, как для других - дыхание.

- Потом - тело перевезём в нижний склеп, для вскрытия,

- продолжил он. - Братьям-лекарям - полный протокол: вес органов, цвет паренхимы, наличие или отсутствие опухолей, состояние желёз. Особенно - желёз. Паращитовидных. Щитовидной. Поджелудочной. Все железы - отдельно, в форме.

- Зачем?

- Потому что, - Вэл чуть наклонил голову, - меня интересует не кто его убил. Меня интересует - что с ним было сделано при жизни. И что он делал с другими.

Морен посмотрел на него. Вэл знал этот взгляд. Это был взгляд человека, который не понимает, говорит ли собеседник метафорой или буквально. Вэл не говорил метафорами. Метафоры - слишком абстрактно. Он говорил - буквально. И Морен, который знал его семь лет, всё равно каждый раз пытался найти в его словах подтекст. Подтекста не было. Был - только текст.

- И ещё, брат Морен, - Вэл помолчал. - Я хочу спуститься в подвал.

- В какой подвал.

- В тот, где Сшитые.

Морен побледнел. Это было видно даже в ровном свете исповедальни - на щеках проступила серость, губы стали тоньше. Вэл заметил. Записал бы, если бы это было важно. Но Морен был не субъект, а коллега. Морен не записывался.

- Гаудер, - сказал Морен. - Они не для допросов. Они - брат-командора Мэллуса.

- Я знаю, чьи они. Я не собираюсь их допрашивать. Я хочу их - осмотреть. Как патологоанатом. Я хочу проверить кое-что.

- Что.

- Я хочу проверить, - сказал Вэл, и на его лице медленно, очень медленно, проступила улыбка - детская, странная, неуместная в этой комнате с мёртвым архиепископом, - могу ли я причинить им боль. Они ведь, насколько я понимаю, не должны её чувствовать. Им удалили парашитовидные. Им замкнули вагус медной скобой. У них - полная парасимпатическая блокада. Боль не должна проходить. Но я хочу убедиться. Мне нужно - убедиться.

Морен смотрел на него долго. Потом - медленно - кивнул.

- Я поговорю с брат-командором Мэллусом.

- Поговорите. Скажите ему, что это по протоколу. Что я заполню протокол. Что я не причиню субъекту необратимых повреждений - только диагностические воздействия. Что я отдам ему копию всех записей.

Морен кивнул снова. Вэл поднялся. На секунду задержался у тела. Посмотрел на лицо архиепископа. На восковую кожу. На запёкшуюся полость рта. На клеймо с семью лучами. Эльдред, верховный иерарх Церкви Пламенного Ока, главный борец с ересью. Которого Вэл теперь подозревал - не в ереси. В хирургии.

- Ну что, ваше преосвященство, - сказал Вэл тихо, ровно, без иронии, потому что ирония была ему недоступна, - вы

мне, конечно, не ответите. Но я всё равно спрошу. Кто вас так. И главное - за что. И главное - что вы сами делали с другими, раз с вами сделали вот это.

Архиепископ молчал. Это было ожидаемо. Мёртвые молчат. Живые - тоже, но по-другому. Живые молчат, потому что боятся. Мёртвые молчат, потому что не могут. Вэл записал оба вида молчания в блокнот - два разных термина, два разных наблюдения. Это была его работа. Эта работа была единственной, что у него было.

Он вышел в собор. Свет - ровный, рассеянный, без теней. Где-то в боковых приделах пели - без слов, без эмоций, как метроном. Белые рясы братьев скользили между колоннами. Никто не знал, что в трёх шагах от их колен, за деревянной перегородкой, лежит мёртвый архиепископ. Или знали, но молились о другом. Молиться о мёртвых - напрасный труд. Мёртвые не возвращаются. Это Вэл знал точно. Он проверял.

Глава 3. Цепные псы.

- Вэл Гаудер -

Подвал собора Пламенного Ока. Тридцать две ступени ниже главного нефа. Вэл Гаудер считал. Он всегда считал. Тридцать две ступени. Камень. Ровный. Белая плитка. Без щелей. Стены - белые. Потолок - белый. Низкий. Свет - ровный. Масляные лампы с зеркальными отражателями. Через каждые четыре метра. Температура - восемь градусов. На стене у входа висел спиртовой термометр. Вэл проверил. Восемь. Как в операционной. Как в морге. Как везде, где ткань должна быть сохранена.

Запах - озон. От ламп. Карболка. От утренней уборки. И - третий. Медь. Вэл знал этот запах. Медь - консервант. Медь - антисептик. Медь в больших дозах - токсин. Здесь, внизу, меди было много. Вэл записал в блокнот: Запах меди. Концентрация - значительная. Гипотеза: источник - медные скобы на шейных симпатических узлах субъектов. Гипотеза 2: воздухообмен - недостаточный. Запросить у брата-командора Мэллуса схему вентиляции.

Его сопровождал брат-командор Мэллус. Высокий. Худой. Лысый - бреет голову, по гигиеническим соображениям. Белая ряса. Белые перчатки. Светлое, спокойное лицо. На губах - едва заметная тёплая полуулыбка. Мэллус не подчинялся Вэлу. Мэллус не подчинялся никому, кроме покой-

ного Эльдредра. Фактически - никому. Мэллус стоял в любой иерархии чуть сбоку и чуть выше. Вэл это знал. Вэл это записал. Не в блокнот - в голову. Блокнот был для субъектов. Голова - для коллег.

- Брат Гаудер, - сказал Мэллус. Голос тихий. Мягкий. С паузами. - Я предупреждаю. Они хрупкие. Они наша гордость. Они мученики. Вы будете обращаться с ними бережно.

- Я понимаю. Я обращаюсь бережно. Я исследователь. Я не садист.

Мэллус посмотрел на него. Долго. С тем особым выражением, какое бывает у искренне верующих, когда они смотрят на того, кого считают - не врагом, но близко. Вэл знал это выражение. Он его не понимал. Он бы записал, если бы мог. Но для него это было слишком абстрактно.

- Вы странный человек, Гаудер. Вы не чувствуете боли. Я чувствую. Поэтому я мученик вместе с ними. А вы нет. Вы словно ангел. Без души.

- Я не ангел. Я человек с редким синдромом. СРА. Врождённая нечувствительность к боли с ангиброзом. Это физиология, не теология. Но если вам удобнее - ангел. Хорошо. Покажите субъекта.

Мэллус кивнул. Повёл по коридору. Мимо ниш. В нишах - кресла. В креслах - Сшитые. Вэл считал. Пять ниш слева. Пять ниш справа. Десять кресел. В восьми - тела. В двух - пусто. На подлокотниках - свежие царапины от ремней. Недав-

но освободились. Вэл записал: 10 ниш. 8 занято. 2 свободны - освобождены недавно. Срок годности субъектов - 2-3 года. Двое вышли из строя за последние дни. Запросить - когда именно.

Сшитые тихо дёргались. Не тетания. Тремор. Постоянный, мелкий. Пальцы подрагивали. Кисти - в лёгком тонусе. Не скрюченные, как при тетании. Приведённые. Лица - неподвижны. Глаза - закрыты. Все. Кожа на глазницах - сшита суровыми нитками. Швы - грубые, старые. Некоторые уже почти не держали. Вэл записал: Глаза - хирургически удалены. Орбиты - защиты. Подпись процедуры - старая, предположительно первые недели после конверсии. Гипотеза: ослепление - часть протокола. Зачем - уточнить.

Кресла - обитые белой кожей. Ремни - кожаные, с медными пряжками. Кожа ремней - тёмная от пота и опиумной мази. Опиум - в воздухе. Вэл уловил. Записал: Опиатный фон. Воздух насыщен. Возможно - *per inhalationem*. Подавляет базовый тремор. Не убирает. Не отменяет триггер.

Мэллус остановился у последней ниши справа. Четвёртой.

- Этот. Самый стабильный. Семьдесят три дня после процедуры. Наш лучший образец.

Вэл подошёл. Ровно. Без напряжения. Сшитый в кресле был - мужчина. Лет тридцати. Бывший мужчина. Бывшие мужчины в таком состоянии не имеют возраста - у них есть только срок годности. Семьдесят три дня. Это возраст.

Сшитый дрожал. Постоянно. Мелко. Веки на пустых глазницах - подрагивали. Шея - обнажена. Под кожей - рельеф медной скобы. Чуть ниже уха. Слева. Вэл видел. Вэл знал - это не вагус. Это шейный симпатический узел. Вэл записал: Медная скоба - на верхнем шейном симпатическом узле. Слева. Контур рельефен через кожу. Гипотеза: постоянная симпатическая стимуляция. Подтверждение - пульс.

Вэл достал из кармана ряссы стетоскоп. Тонкий. С эбонитовой головкой. Приложил к груди Сшитого - слева, между третьим и четвёртым ребром. Слушал. Двенадцать секунд. Записал: Пульс - 138 в минуту. Ритм - синусовый, с эктопиями. Аускультативно - акцент второго тона на аорте. Гипотеза: начинающаяся лёгочная гипертензия. Это ожидаемо. Срок - 73 дня.

Вэл опустил на колено. Осмотрел руку. Левую. Кисть. Пальцы. Постоянный мелкий тремор. Не тетания. Не рука акушера. Тремор. Субклиническая гипокальциемия. Баланс на грани. Вэл записал: Тремор в покое. Диффузный. Мелкий. Не карпопедальный. Состояние - пограничное. Гипотеза: миллиметровый фрагмент паразитовидной - функционален. Поддерживает баланс. Триггер должен сместить баланс в тетанию. Триггер - пульс наблюдателя. Через слух. Через гиперакузию. Цепочка: звук пульса - симпатoadреналовый криз - гипервентиляция - дыхательный алкалоз - падение ионизированного Са - спазм. Гипотеза: один из этих субъектов в полевых условиях - оружие. В кресле - датчик.

Двойное назначение. Записать.

Кожа на руке Сшитого - серовато-медная. Диффузно. Не локально. Не под скобой - везде. Вэл провёл пальцем. Сухо. Шершаво. Тургор снижен. Вэл записал: Кожа - медный оттенок. Диффузный. Системно. Медь в тканях - выходит через кожу. Склеры недоступны осмотру - веки сшиты, но при пальпации - уплотнение конъюнктивы. Гипотеза: кольца Кайзера-Флейшера - возможны. Необходимо - вскрывать шов на глазах. Не сегодня. Он не стал вскрывать. Не сегодня. Сегодня - другое.

Он отошёл на четыре метра. Стоял. Молчал. Ждал. Сшитый продолжал дрожать в том же ритме. Вэл записал: Дистанция - 4 метра. Реакции - нет. Потом он сделал шаг вперёд. Один. Три метра. И Сшитый повернул голову.

Не резко. Медленно. Плавно. Как будто кто-то взял его за подбородок и потянул влево. Голова повернулась на - Вэл прикинул - двенадцать градусов. И замерла. Пустые веки смотрели в пустоту - но не в ту, что были раньше. Вэл записал: Дистанция - 3 метра. Субъект реагирует поворотом головы на 12 градусов. Запуск - по пульсу. Подтверждение детекторной функции. Гипотеза: гиперacusия. Стременной нерв пересечён. Акустический рефлекс отсутствует. Субъект слышит кровоток в сосудах наблюдателя.

Вэл достал маленькие карманные часы. Открыл крышку. Считал пульс у себя - по секундной стрелке. Семьдесят два удара в минуту. Нормальный. Спокойный. Он не чувство-

вал волнения - потому что не чувствовал ничего. Но пульс был. Семьдесят два. Вэл снова подошёл к креслу. Вплотную. Сшитый не двигался. Тогда Вэл глубоко вдохнул - пять секунд - задержал - пять секунд - резко выдохнул. И одновременно сжал левую руку в кулак. Пульс должен был подскочить - до восьмидесяти, может, до девяноста. И - Сшитый снова повернул голову. Вправо. На двадцать градусов. Угол больше. Чем сильнее учащение пульса, тем больше угол. Линейная зависимость. Вэл записал: Зависимость: угол поворота головы пропорционален учащению пульса наблюдателя. Линейная. Расстояние - до 4 метров. Гипотеза: зрительная кора - после хирургического ослепления - компенсаторно перестроена на аудио. Подтверждение: 73 дня достаточно для нейропластической перестройки (2-3 месяца по литературе).

Вэл улыбнулся. Маленькой, странной, детской улыбкой. Так улыбаются дети, когда находят что-то новое под камнем. Он улыбнулся - потому что нашёл. Не потому что обрадовался. Он не умел радоваться. Он умел находить.

Он протянул руку. Медленно. Аккуратно. Погладил Сшитого по предплечью. Левому. Вниз, от локтя к запястью. Кожа - сухая. Тёплая. Под кожей - мышцы в гипертонусе, как верёвки. Реакции нет. Сшитый не отёрнул руку. Не повернул головы. Не изменил ритма тремора. Вэл записал: Тактильный контакт - нет реакции. Подтверждение: кожная чувствительность снижена. Сенсорный канал - работающий

только через слух.

Тогда Вэл достал из кармана маленькую стальную иглу. Длинную, тонкую - хирургическую, для подкожных инъекций. Дезинфицированную кипячением. В стерильном холщовом мешочке. Он взял левую руку Сшитого - ровно, без усилия. Поднял указательный палец. Поднёс иглу к ногтю. Надавил. Проколол ноготь - игла вошла под пластину, в ногтевое ложе, на три миллиметра. Это болевой раздражитель, который в норме вызывает у любого человека мгновенное отдёргивание и крик. Кричат все. Дети, взрослые, воины, женщины. Все.

Сшитый не дёрнулся. Палец остался неподвижен. Лицо не изменилось. Плечо не напряглось. Голова не повернулась. Но - Вэл считал - пульс подскочил. Со ста тридцати восьми - до ста пятидесяти шести. На восемнадцать ударов. За полторы секунды. Это реакция. Не мышечная. Не кожная. Вегетативная. Сердце отозвалось. Где-то что-то почувствовало. Вэл записал: Игла под ноготь - нет мышечной реакции. Вегетативная реакция - учащение пульса на 18 ударов. Гипотеза: спиноталамический путь пересечён на уровне спинного мозга. Осознанной моторной реакции на боль нет. Но симпатическая цепь - цела. Болевой сигнал проходит через симпатические ганглии. К сердцу. К надпочечникам. Подтверждение: пульс +18. Необходимо повторить.

Вэл повторил. На правой руке. На среднем пальце. Та же игла. Тот же прокол. Тот же результат. Никакой мышечной

реакции. Пульс подскочил снова - со ста пятидесяти шести до ста семидесяти четырёх. Снова на восемнадцать. Вэл записал: Повторное раздражение - правая рука. Реакция идентична. Пульс +18. Линейная зависимость. Симпатический ответ - стереотипен. Субъект не способен к привыканию. Каждый болевой стимул - полный отклик.

Вэл улыбнулся снова. Та же детская, странная улыбка. Он вытащил иглу. Капля крови - тёмная, густая - выступила под ногтем. Вэл промокнул её белой тряпицей. Сложил тряпицу вчетверо. Убрал в левый карман. Он всегда убирал в левый карман. Это было ритуал. Не ОКР-ритуал, не компульсия. Просто порядок. В правом кармане - чистые тряпицы. В левом - грязные. Левый пустой, когда он приходит. Левый полный, когда уходит. Так - видно, сколько работы сделано.

Он стоял. Записывал. И вдруг Сшитый повернул голову к нему. Полностью. Не плавно - рывком. Голова дёрнулась на шее. Пустые веки смотрели - туда. На Вэла. Рот открылся. И из этого рта вырвался звук.

- Больно, - сказал Сшитый.

Тихо. Хрипло. Почти шёпотом. Но - слово. Первое слово. За семьдесят три дня. За все дни - Вэл знал из протоколов - Сшитые не говорили. Ни одного слова. Ни звука, кроме стонов и хрипов. И вот - слово. И слово - про боль.

Вэл замер. Блокнот в его левой руке дрогнул. Один раз. Потом замер. Он стоял неподвижно. Сердце - он бы поспорил - забилося чаще. Но он не чувствовал этого. Он не мог

чувствовать. Но где-то - что-то - в его голове, что не было ни сердцем, ни кожей, ни мышцей - отозвалось. Слово больно висело в воздухе. Как камертон, который ударили. Который звенит. И звенит. И звенит.

- Больно, - повторил Сшитый. Тише. Глуше.

Вэл медленно наклонился. Близко. К самому лицу. Запах слюны, меди, опиума. Запах тела, которое умирало уже семьдесят три дня.

- Ты чувствуешь боль? - спросил Вэл. Голос ровный. Спокойный. Академический. Как на лекции. Он не умел иначе.

- Больно, - сказал Сшитый в третий раз.

И умер.

Это было - мгновенно. Без агонии. Без предсмертного хрипа. Просто - сердце остановилось. Сто пятьдесят шесть ударов в минуту - и ноль. Как будто выключили. Вэл приложил стетоскоп к груди. Тишина. Абсолютная. Он посмотрел на часы. 14:32. Записал: 14:32. Остановка сердца. Внезапная. Без предшествующей аритмии (по аускультации). Гипотеза: острый инфаркт миокарда. Прорывной болевой шок. Сердце - изношено 73 днями постоянной тахикардии 120-140. Симпатическая перегрузка. Когда что-то в болевом канале прорвалось - сердце не выдержало. Подтвердить при вскрытии.

Потом - ещё одна запись. Медленнее, чем обычно. С длинной паузой между строками:

Последнее слово субъекта - больно". Первое слово за 73

дня. И - про боль.

Гипотеза: спиноталамический путь пересечён. Осознанной реакции нет. Но болевой сигнал проходит. Через симпатическую сеть. Через что-то ещё - что я не понимаю. Субъект чувствовал боль. Молчал 73 дня. Заговорил - только чтобы сказать, что ему больно. И умер.

Это первая вербализация боли от Сшитого в протоколах инквизиции. Это важно. Это очень важно.

Необходимо повторить. С другим субъектом. Необходимо - услышать ещё раз.

Вэл закрыл блокнот. Снял перчатки. Надел новые. Аккуратно, по традиции, убрал грязные в мешочек. Потом выпрямился. Посмотрел на мёртвого Сшитого. На каплю крови под ногтем, уже запёкшуюся. На пустые, зашитые веки, которые медленно меркли. На медную скобу под кожей шеи - её было видно, потому что кожа над ней истончилась от постоянного отторжения. Скоба была на шейном симпатическом узле. Не на вагусе. Это Вэл теперь знал точно. Это было важно. Это меняло всё.

Он не чувствовал ничего. Но где-то - что-то - он не мог подобрать слово - отозвалось. Не жалость. Не ужас. Не отвращение. Что-то другое. Скорее - голод. Тот голод, какой бывает у исследователя, когда он находит что-то, чего не должно быть. Чего-то, что противоречит всему, что он знал. Боль там, где боли не должно быть. Голос там, где голоса не должно быть. Слово больно там, где не должно быть слов вообще.

Вэл поднялся по лестнице. Тридцать две ступени. Снова считал. На двенадцатой - встретил брата-командора Мэллуса. Тот ждал. Сложив руки перед собой. С той же тёплой, едва заметной полуулыбкой.

- Ну как, брат Гаудер?

- Субъект умер. В 14:32. Остановка сердца. Вскрытие завтра, я заполню протокол. Перед смертью - вербализация. Одно слово.

Мэллус не изменился в лице. Только полуулыбка стала чуть глубже. Чуть теплее. Как будто он слышал радостную новость. Не страшную.

- Какое слово, брат?

- Больно.

Мэллус помолчал. Потом медленно кивнул.

- Они мученики. Они несут боль, чтобы мы не несли. Они умирают, чтобы мы жили. Это любовь, Гаудер. Вы, наверное, не понимаете. Но это любовь.

- Я не понимаю. Я хочу понять. Мне нужен новый субъект. Сегодня. Сейчас. Я хочу повторить. Я хочу услышать ещё раз.

Мэллус посмотрел на него долго. Потом снова кивнул.

- У нас есть один. Свежий. Двенадцать дней после процедуры. Я вам его покажу. Но бережно, брат Гаудер. Бережно. Они не ваши. Они Господа.

- Я понимаю. Я бережно. Я всегда бережно. Я заполню протокол.

Он достал блокнот. Открыл новую страницу. Записал дату, время, имя субъекта - Субъект 4. Срок - 73 дня. Время смерти - 14:32. Последнее слово - больно". Потом, ниже: Субъект 11. Срок - 12 дней. Назначен к осмотру. Он аккуратно закрыл блокнот. Убрал ручку в карман. Снял перчатки. Надел новые. И пошёл за Мэллусом - вниз. Снова тридцать две ступени. Снова белый камень. Снова озон, карболка, медь. Снова кресла, ремни, дрожащие тела, зашитые веки, медный цвет кожи, рельеф скоб под шеями.

Где-то наверху, в соборе, пели хорал. Без слов. Без эмоций. Ровно. Как метроном. Вэл считал - ступени, удары пульса, секунды до нового субъекта. Это была его работа. Эта работа была единственной, что у него было.

Глава 4. Невеста без жениха.



- Айла вэн Хаард -

Поместье Дейма Эльдреда-младшего стояло в получасе езды от Грандмарка, на пологом холме, окружённом тремя рядами живой изгороди и одним рвом с дождевой водой, и Айла вэн Хаард знала это поместье лучше, чем собственное имение, хотя в собственном имении она провела первые шестнадцать лет жизни, а здесь - всего три месяца, и это, в сущности, и есть плен, подумала она: не решётки и цепи, нет, просто дом, который ты знаешь лучше, чем свой собственный, потому что твой собственный остался где-то в другой жизни, и в той жизни ты была кем-то, а в этой ты - невеста без жениха, и скоро будешь женой без мужа, и разница между ними только в том, что невесту ещё можно вернуть, а жену - уже нет, и Дейм, конечно, это знает, и потому не торопится, и потому не трогает, и потому пьёт по утрам кислятину, которую выдаёт за тоник, и ждёт, как ждёт кот у норы, не потому что голоден, а потому что привычка.

Три месяца. Из них первые две недели она почти не спала, и это было самое простое, потому что не спать - легче, чем спать, во сне приходили лица, а наяву можно было считать трещины на потолке, и трещины были безвредны, и считать их было безвредно, и к утру на рукаве ночной рубашки оставались пятна - иногда крови, иногда просто слюны, она кусала рукав, чтобы не закричать, и это, в общем, было единственным, что у неё оставалось от ночей. Потом она на-

училась спать - урывками, по часу, по два, и почти каждую ночь просыпалась от собственного крика, и Дейм приходил дважды, первый раз ударил, второй раз пригрозил подвалом, и она научилась молчать, и затыкала себе рот подушкой, и подушка пахла чужим потом, и это было отвратительно, но не так отвратительно, как крик, потому что крик приводил Дейма, а Дейм приводил кулак, и кулак был хуже подушки.

Утро началось как всегда. Она проснулась в маленькой комнате на втором этаже - узкая кровать, стол, стул, распятие на стене. Окно выходило на конюшню. Через окно она видела, как конюх Ярл чистит гнедого жеребца Дейма. Жеребца звали Буцефал. Дейм дал ему это имя сам, не зная, что Буцефал - имя коня древнего языческого царя. Айла знала, но не сказала. Не её дело - учить жениха. Не её дело - вообще что-либо ему говорить, если он не спрашивает, а он не спрашивал никогда, потому что вопросы - это диалог, а диалог предполагает равенство, а равенства между ними не было и не будет.

Она оделась - простое серое платье, тёмные волосы собрала в косу. Никакой косметики, никаких украшений. Руки тряслись. Не сильно - чуть заметно, на кончиках пальцев. Так у неё было каждое утро. Она натянула перчатки - летние, тонкие, чтобы скрыть. Дейм однажды сказал ей, что девушка из опальной семьи не должна выглядеть как шлюха. Она ответила, что не выглядит. Он ударил её. Не сильно. Просто чтобы помнить, кто хозяин. Она запомнила. Это было три

месяца назад. С тех пор - больше не бил. Не потому что раскаялся. Просто потерял интерес.

Завтрак подавали в малой столовой. Дейм уже сидел за столом - растрёпанный, красноглазый, с бокалом кислятины. Он не поздоровался. Она не поздоровалась. Между ними за столом сидел его управляющий, старый Кройц, и этот Кройц единственный из всех был более-менее приличным человеком в этом доме. Что, впрочем, не делало его другом. Просто - не врагом. Кухарка поставила перед Деймом тарелку - жареная телятина с луком. Запах поднялся над столом - тяжёлый, жирный, сладковатый.

И тут - вот оно.

Айла знала этот запах. Не телятины. Запах горелого мяса. Запах площади. Запах трёх столбов. Запаха, который не выветрить ничем, ни духами, ни дождём, ни тремя месяцами, ни, наверное, всей оставшейся жизнью, потому что запах этот сел куда-то глубоко, не в нос, а в самое нутро, в то место, откуда его не достать, и оттуда поднимался, когда хотел, обычно когда не надо, обычно когда она думала, что всё хорошо, что она справилась, что она держится, и тогда он говорил - нет, не держишься, и ты никогда не справишься, и никогда не было хорошо, и вот - опять.

- Доброе утро, - сказала она. Голос прозвучал ровно. Она научилась.

- Утро, - пробурчал Дейм. - Херовое утро.

Она не ответила. За три месяца она научилась не отвечать,

когда он говорил про утро. Утро у него всегда было херовым. После полудня - ещё хуже. К вечеру - совсем ад.

Она взяла хлеб. Намазала маслом. Поднесла ко рту. И не смогла. Руки не слушались. Сердце вдруг застучало - не в груди, в горле, в ушах, в кончиках пальцев, везде сразу, как будто кто-то вывернул её наизнанку и положил обратно кое-как. Дыхание сбилось - мелкое, частое, нехватка, она чувствовала, что не может набрать воздуха, что лёгкие не раскрываются, что кто-то положил им камень. Хлеб выскользнул из пальцев. Упал на тарелку. Масло потекло по белому.

- Позвольте, - сказала она тихо. - Я... сейчас.

Она вышла. Не побежала. Не пошла быстро. Просто - вышла. Тихо. Закрыла дверь. Дошла до конца коридора. Свернула в чулан - тот самый, где хранили свечи и старые полотенца. Закрыла дверь изнутри. Села на пол, между корзин. И тогда её отпустило - то есть нет, не отпустило, наоборот, взяло всерьёз, потому что до этого она держалась, а теперь можно было не держаться.

Сердце колотилось так, что, казалось, выскочит из груди. Дыхание - мелкое, частое, нехватка. Руки трясло уже не чуть-чуть - всерьёз, так, что она не могла расстегнуть ворот. Она прижала ладони к коленям, чтобы те не дрожали. Не помогало. Внутри поднялось что-то горячее, кислое, и она едва успела наклониться к корзине - вырвало. Один раз. Другой. Потом - третьим, уже одной жёлчью, и она подумала - это всё, в ней больше ничего нет, она пустая, как барабан,

и можно стучать, и звук будет гулкий, и пустой. Она сидела на полу чулана, прижавшись спиной к стене, и считала вдохи. Один. Два. Три. Четыре. Пять. Сердце замедлилось. Дыхание выровнялось. Руки перестали трястись - почти. Она вытерла рот рукавом. Достала из кармана платок. Утёрлась. Платок спрятала - потом сожжёт. Встала. Опёрлась о стену. Ноги слушались плохо. Подождала минуту. Потом вышла из чулана - тихо, как вошла. В коридоре было пусто. Никто не видел. Никто не слышал. Никто не знал. Это, в сущности, и был её главный талант: прятать. Три месяца прятать. Сегодня - чулан, между корзин. Вчера - конюшня, между сундуками. Завтра - где-нибудь ещё. Если она не будет прятаться, она умрёт. Не в переносном смысле. В прямом. Сердце не выдержит. Или задохнётся. Или просто - рассыплется на части, как мокрая бумага.

Это была единственная паническая атака за день. Обычно их было две или три. Сегодня - одна. Может быть, потому, что тело устало. Может быть, потому, что смерть архиепископа, о которой ей ещё предстояло узнать, освободила в ней что-то, чего она пока не понимала.

Она вернулась в столовую. Села. Взяла хлеб. Откусила. Жевала медленно, потому что быстро не получалось - горло ещё сжимало.

- Долго ходишь, - сказал Дейм, не поднимая глаз от телятины.

- Прогулка, - сказала Айла. - Свежий воздух.

Кройц посмотрел на неё. Кройц, кажется, что-то видел. Или догадывался. Кройц был неглуп. Но Кройц молчал. Это было - к лучшему.

В столовую вбежал слуга - молодой, рыжий, весь в грязи от дороги. Он был явно из тех, кого посылают срочно.

- Господин, - выдохнул он. - Из Грандмарка. Из собора. Ваш дядя...

Дейм поднял голову.

- Что - дядя?

- Ваш дядя... его преосвященство архиепископ... мёртв.

В столовой стало тихо. Кройц медленно поставил чашку на блюдце. Дейм моргнул. Один раз. Два. Три. Айла смотрела на него и считала. Это её успокаивало - считать. Считать - это была её молитва. Её розарий без креста. Один. Два. Три. Четыре. Дейм моргнул пять раз. На пятом Айла поняла, что слышит дыхание - своё собственное, тяжёлое, с присвистом. Она остановила. Вдох. Выдох. Вдох. Выдох. Руки под столом - снова кулаки. Ногти впились в ладони. Боль помогала. Боль возвращала в столовую, в это утро, в этот момент. Боль - это якорь.

- Мёртв, - повторил Дейм.

- Да, господин. Этой ночью. В соборе. Убий...

- Вон, - сказал Дейм. - Вон. Все вон.

Слуги выбежали. Кройц, посмотрев на Дейма, тоже встал и вышел, тихо прикрыв дверь. Айла осталась. Не потому что её не прогнали. Потому что её не прогнали. Разница - суще-

ственная.

И тут - провал.

Она помнила, как Дейм посмотрел на неё. Помнила его глаза - большие, мокрые, как у ребёнка, которому только что сказали, что дед Мороз не существует. Помнила, что подумала: в этот момент он, наверное, впервые за три месяца действительно её видит. А потом - ничего. Тёмная полоса. Как будто кто-то задул свечу и снова зажёл. Она очнулась у окна в коридоре, спиной к холодной каменной стене, глаза закрыты. Сердце колотилось. Не от страха. От чего-то другого. От чего-то, что она пока не решалась назвать, но что было похоже на надежду. Она не помнила, как встала из-за стола. Не помнила, что сказал Дейм. Минуты, может быть, пятнадцать - выпали. Это с ней бывало. Три месяца - бывало всё чаще. На площади, в тот полдень, когда горели три столба, - тоже было. Она помнила: стоит в толпе. Стража держит её за локоть. Потом - тьма. Очнулась - в телеге, на дороге из Гранд-марка. Дейм рядом. Что было между - не помнила. Чёрные часы. Как будто кто-то вырезал кусок из её жизни ножницами, и края остались ровные. Просто - нет. И всё.

Она вернулась в свою комнату, села на кровать. Ждала. Час. Два. За окном конюх Ярл увёл Буцефала в крытое стойло. Дождь не прекращался. Где-то внизу, в кабинете, Дейм орал на управляющего. Потом - на кухарку. Потом - на кого-то ещё. Потом стало тихо. Это было самое опасное. Когда Дейм злился - он был предсказуем. Когда замолкал - нет.

В сумерках в дверь постучал Кройц. Он принёс ей поднос с ужином - хлеб, сыр, варёная репа. И письмо. Письмо было без подписи, но она узнала почерк. Мэррит. Старая кормилица матери, жившая в Грандмарке, единственный человек, который ещё писал ей раз в две недели - коротко, осторожно, чтобы не привлекать внимания инквизиции. Обычно - новости о погоде, ценах на зерно, здоровье дальней родни. Сегодня - иначе. Сегодня в письме было четыре строчки.

Архиепископа нет. Дейм в опасности. Ты в опасности. Приходи в дом по улице Свечников, третий от колодца. Скажешь, что от Хельги.

Айла перечитала трижды. Потом - в четвёртый раз. Руки дрожали. Буквы прыгали. Она зажмурилась, открыла. Перечитала ещё раз. Потом сожгла письмо в свече. Пепел растёрла пальцами и выбросила в окно, в дождь. Старая привычка. Отец учил. Никогда не оставляй бумаг. Особенно - важную. Отец был мудр. И мёртв.

Она села обратно на кровать и начала думать. Это у неё получалось хорошо. Думать - единственное, что у неё получалось хорошо. Это, в общем, и был её трюк: пока она думала - она не чувствовала. Пока анализировала - не помнила. Пока считала странности, как монеты на столе, - не трясло. Голова - это щит. Голова - это меч. Так отец учил. Отец не учил, что под щитом - дрожащая девочка, которую тошнит в чулане каждое утро. Но это уже - её проблема.

Что она знала. Семью её казнили три месяца назад за

ересь Семерых. Отец, мать, старший брат - на костре, на центральной площади Грандмарка, при большом стечении народа. Айла не помнила, как оказалась на площади. Помнила только - стоит в толпе, стража держит, и три столба, и три мешка, и запах. Лицо отца - помнила. Лицо брата - нет. Это её мучило. Она помнила запах брата, когда он горел, но не помнила его лица. В чулане, когда её выворачивало наизнанку, она пыталась вспомнить его лицо - и не могла. Только глаза. Только глаза, как у матери. Только это.

Но были странности. Сначала она им не придала значения. Но теперь, после письма Мэррит, всё сложилось. И сложилось иначе, чем она думала раньше.

Странность первая. При обыске в их имении не нашли ни Книги Семерых, ни изображений знака, ни ритуальных предметов. Только - и это вторая странность - отец держал в кабинете запертый сундук, и когда инквизиция пришла, сундук был уже пуст. Кто-то знал о обыске заранее. Кто-то успел вынести содержимое. Кто-то - или кто-то из своих.

Третья странность. На суде отца не допрашивали публично. Закрытое слушание. Через два дня - приговор. Стандартное дело об ереси занимает месяцы. Это заняло восемь дней. Четыре из которых отец провёл в камере без допросов. Что происходило в остальные четыре - она не знала. Но отец вышел на эшафот с таким лицом, будто узнал что-то, чего не знал раньше. Что-то страшное. Что-то, что заставило его молчать. Он не кричал я невиновен. Он вообще не кричал.

Он молчал. Молча и сгорел.

Четвёртая странность - самая важная. Мэррит. Мэррит была кормилицей матери. Кормилицами не становятся просто так - это всегда кто-то близкий, проверенный. И Мэррит, зная, что семья казнена за ересь, не отреклась от них. Не уехала. Не сменила имя. Осталась в Грандмарке. Писала Айле. Ждала. Ждала чего-то.

Была и пятая странность, самая мучительная. Брат. Старший брат Томас. Ему было двадцать три, он только что вернулся из университета в Тальмаре. Умный, тихий, с лёгкой хромотой после детской травмы. И - главное - он не был еретиком. Айла знала это точно. Томас не верил ни во что. Со всем. Он смеялся над церковными проповедями, над философами, над самим понятием веры. Вера, - говорил он ей однажды, - это форма страха. И я, слава богам, которых нет, не боюсь ничего. И вот этого человека сожгли за ересь. За веру, которой у него не было.

Это значило только одно. Семью убили не за то, во что они верили. Их убили за что-то другое. За то, что они знали. За то, что хранили. За то, что могли рассказать. И отец молчал на эшафоте не потому, что был виновен. А потому, что знал: если заговорит - умрёт гораздо медленнее. И что с ним умрут ещё люди. Может быть, многие люди.

Но сегодня утром, в чулане, между двумя спазмами рвоты, к ней пришла мысль, которой не было раньше. Не новая - а очень старая, просто она не решалась её думать. Семья не

была еретиками. Это она знала. Но семья была - не только жертвами. Семья была - чем-то ещё. Кем-то ещё.

Отец был хирургом. Она знала это - все знали. Лекарь вэн Хаард, лекарь-любитель, как говорили в тальмарских салонах с лёгким презрением. У него была библиотека - медицинские трактаты, анатомические рисунки, описания процедур. Он возился с ними по вечерам. Он показывал ей - когда ей было десять, двенадцать, четырнадцать - как устроено тело. Где железы. Где нервы. Где сосуды. Он говорил ей: Айла, если ты будешь знать, как устроено тело, ты будешь знать, как его чинить. А если будешь знать, как его чинить - ты будешь знать, как его ломать. Это - одно и то же знание. Запомни. Однажды это тебя спасёт.

Тогда она думала - он шутит. Или читает ей лекцию из любви к преподаванию. Теперь - она не была уверена. Отец показывал ей - конкретные процедуры. Удаление парашитовидной железы. Замыкание нерва медной скобой. Тетания через шесть часов. Базальный пульс - выше на сорок процентов. Он показывал - как будто учил. Не для того, чтобы она стала лекарем. Для того, чтобы - помнила.

Семья была - Хранителями. Не еретиками. Не жертвами. Хранителями. Чего-то такого, что церковь хотела бы иметь - но не имела. Или имела, но не должна была. Анатомическое знание. Медицинский атлас. Описание процедур, которые делают Сшитых - которых, как она уже начала подозревать, делают в подвалах собора. Семья хранила это знание

- чтобы НИКТО не пользовался им. Чтобы - баланс. Чтобы - противовес. А Эльдред монополизировал вивисекцию. И Хаарды - единственные, кто мог повторить. Их убрали - как конкурентов. Не как еретиков.

Это была - новая мысль. Айла даже перестала трястись. Она села на кровать, выпрямилась. Досчитала до ста. Обрат-
но. Досчитала до тысячи. Голова - ясная. Руки - почти не дрожат. Если она права - если отец был прав - то в этом мире есть атлас. Анатомический атлас. И где-то - он ещё существует. И Мэррит знает где. И Мэррит - ждёт её.

Приходи в дом по улице Свечников.

Это не приглашение к чаю. Это зов.

Айла встала, подошла к окну. Дождь. Темень. На конюшне - один фонарь. Ярл, скорее всего, пьян. Дейм - у себя в кабинете, тоже пьян или почти. Кройц ушёл домой - он жил в деревне. Слуги - на кухне или в подвале. Один часовой у ворот - и тот, скорее всего, спит.

Она открыла шкаф. Достала тёмный плащ с капюшоном - Мэррит прислала его месяц назад, в подарок к празднику Ока. Тогда Айла думала - просто подарок. Теперь понимала: Мэррит готовила её к побегу с того самого дня, как семья погибла. Месяцами. По одному подарку. Плащ с капюшоном. Тёплые чулки. Маленький кожаный кошель с пятью серебряными талерами. Всё это Айла аккуратно сложила в углу шкафа, под зимним платьем.

Она переоделась. Плащ - поверх. Капюшон - на голову.

Серебро - за пояс. В карман ещё - маленький нож для разрезания бумаги. Не оружие, но лучше, чем ничего. Руки тряслись снова - но теперь уже от другого. Не от страха. От чего-то, что она пока не решалась называть. Она прислонилась к стене. Досчитала до десяти. Руки не перестали, но стало терпимо. Она засунула их под мышки. Так - незаметно. Так - можно было идти.

На секунду она задержалась у распятия. Перекрестилась. Не потому что верила. Потому что отец учил: Когда не знаешь, что делать - делай как все. Это лучшая маскировка. И она вышла.

По лестнице - тихо. Деревянные ступени скрипели на четырёх местах, и она помнила все четыре. Мимо кабинета Дейма - он храпел, наконец уснул. Мимо кухни - оттуда пахло луком и потом, слуги ужинали. Айла прижала ладонь к животу. Стиснула зубы. Прошла. Через чёрный ход, мимо конюшни, через сад. Изгородь - в дальнем углу, где был подкоп под корнями. Подкоп был не её - его сделал ещё Деймов дед, для встреч с местной вдовой. Теперь им воспользуется невеста Дейма. Символично.

Через пятнадцать минут Айла шла по тракту на Гранд-марк. Дождь лил в лицо. Дорога раскисла. Башмаки промокли на первой же миле. Но она шла. Вперёд. Один шаг. Другой. Третий. Каждый - чуть быстрее предыдущего. Каждый - мимо запаха, который стоял в носу, мимо рук, которые тряслись, мимо чулана, где её выворачивало наизнанку каждое

утро. Вперёд. Прочь. Туда, где, может быть, кто-то объяснит ей, за что. И почему. И кто.

Она не знала, что найдёт в доме по улице Свечников. Не знала, кто такая Хельга. Не знала, кто убил архиепископа и зачем. Не знала, причастна ли Мэррит к чему-то. Не знала - виновата её семья или нет. Но одно она знала теперь точно. Семья её была - Хранителями. Не еретиками. И атлас - если он существует - это не ересь. Это - знание. Знание, как ломать тело. Знание, как чинить тело. Одно и то же знание. Отец учил. И если она - единственная, кто помнит, что отец учил, - значит, она - тоже Хранитель. Теперь - последний.

Она шла уже час. Сапоги промокли насквозь. Плащ - тоже. Под плащом - почти сухо, но это ненадолго. До Гранд-марка ещё миль семь. Если повезёт - к рассвету дойдёт. Если не повезёт - встретит патруль. Инквизиция, конечно, не патрулирует дороги по ночам, но мало ли. Мало ли кому интересна одинокая девушка в плаще без сопровождающих.

И знала одно. Три месяца она была пленницей. Три месяца - ждала. Ждала знака. Знак пришёл. Три месяца - ничего. И вот теперь - наконец - что-то. Айла улыбнулась. Кривая, мокрая, но - улыбка. Она даже не заметила, что плачет. Слезы шли сами - тихо, без всхлипов, как учили в детстве. Леди не плачет громко. Леди плачет так, чтобы никто не видел. Только - дождь видел. Только - тёмный тракт. Только - она сама.

- Ну, - сказала она тихо, обращаясь к дождю. - Ну нако-

НЕЦ-ТО.

Глава 5. Работа есть работа



- *Бэрон Мохр* -

Таверна называлась Свинья и Бочка, и Бэрон Мохр вошёл в неё так, как входил в любое помещение: три секунды в дверях, три шага внутрь, три секунды на осмотр. Ритуал завёлся когда-то очень давно, и Бэрон не помнил когда, зато помнил другое: без него мир начинал криво, а кривой мир невыносим, особенно в таверне, особенно вечером, особенно в Сальтмарке, где и без того всё стоит вкривь и вкось.

Свинья и Бочка оказалась терпимой. Четыре стола, шестнадцать стульев, всё деревянное, неокрашенное, потёртое, на стенах три оленьих рога, два медных ковша, одна засаленная карта северных земель. Бэрон пересчитал про себя: рога не симметрично, ковши почти, карта криво. Всё это было нехорошо, но терпимо, а с терпимым Бэрон умел работать двадцать лет, и, должно быть, это было единственное, чему он научился за всю свою наёмничью жизнь, потому что идеального не бывает, а если и бывает, то не для него.

Он выбрал стол у стены, спиной к стене, лицом к выходу, и это не обсуждалось. Сел, выпрямил позвоночник, поставил локти под прямым углом, выровнял плечи по краю стола и проверил сначала левой ладонью, потом правой. Ровно. Хорошо. Меч в ножнах он положил на стол, подвинул, ещё раз, чуть-чуть, провёл подушечкой большого пальца по ножнам от устья до вершины и обратно, и снова, три раза, и на третьем мир на секунду стал выносим.

- Хозяйка, - крикнул Бэрон в сторону стойки. - Хозяйка, а ну-ка подойди на минутку.

Хозяйская дочка, толстая, румяная, с лицом как луна в полнолуние, подошла, вытирая руки о передник.

- Чего изволите?

- Эль. Только не тот, что ты в прошлый раз наливала, тот, помнишь, с осадком на дне, как будто в бочку мышь бросили и забыли вытащить. Я этот эль два дня проблевал. Налей-ка из новой бочки. И хлеба. Только не тот, что вчера, тот был кривой, я его есть не стал. Ровный кусок. Поняла?

Девка посмотрела на него с тем особым выражением, какое бывает у женщин, когда мужчина в таверне ведёт себя как старый солдат, который всех уже достал.

- У нас один хлеб. Берёте - берёте. Не берёте - не берёте.

- Один? Один, значит. Ну неси один. Только выбери кусок попрямее. Что ты мне всучишь, то я и буду всю ночь перед сном вспоминать, и спать не буду, и утром злой буду, и тебе же хуже.

Девка ушла, ворча что-то про рыжих придурков. Бэрон проводил её взглядом и подумал: молодая ещё, не понимает, ничего, поживёт - поймёт, все понимают, только поздно.

Эль принесли, и Бэрон попробовал, и поморщился, и поставил кружку, и попробовал ещё, и поморщился ещё сильнее, после чего подвинул кружку на полдюйма влево, потом на полдюйма вправо, потом снова влево, в исходную, ровно по краю стола. Хорошо. Хлеб принесли, и Бэрон осмотрел

оба конца, выбрал тот, что подрямее, отложил в сторону слева, потому что справа уже стояла кружка и было бы несимметрично.

- Эй, хозяйка! - крикнул Бэрон через полчаса, когда кружка опустела наполовину. - Хозяйка, иди сюда.

- Ну чего ещё.

- Это что? Это, я извиняюсь, что?

- Эль.

- Эль, говорит. Эль - это, я тебя информирую, напиток из ячменя, солода и хмеля. А то, что ты мне налила, - это, я так понимаю, моча козлияная, которую тридцать лет назад какой-то идиот собрал в бочку, забыл про неё, а теперь вы, в Сальтмарке, подаёте её честным людям под видом эля. Я в Сальтмарке тридцать лет пью. Тридцать. И такого дерьма мне не подавали. Никогда. Хоть бы стыдно вам было.

- Не пейте, - сказала девка невозмутимо. - Вода - бесплатно.

- Вода - это хорошо. Вода - бесплатно. А я, между прочим, плачу за эль, чтобы получить эль, а не то, что ты мне подсунула. Ладно. Неси ещё. Может, из другого конца бочки лучше. И хлеба. Того, что я не доел, унеси и принеси ровный кусок. Этот - кривой. Я тебе говорил - ровный. Ты что мне принесла?

Девка унесла тарелку и принесла другую, с другим куском. Бэрон осмотрел, поморщился, но терпимо. Можно есть.

Дверь таверны скрипнула. Бэрон поднял голову, ещё не

зная кто, но уже зная, что кто-то: сквозняк качнул свечу на стойке, и тени по стене качнулись вместе с ней. Вошёл Тобб Сухорукий, и Бэрон узнал его раньше, чем разглядел лицо, по походке: Тобб ходил неровно, потому что у него не было левой руки и равновесие сбито, и он чуть покачивался при каждом шаге, как старая лодка на мелкой волне. Тобб - старый товарищ, один из тех, с кем Бэрон работал пятнадцать лет назад, когда Коты ещё гремели по всем войнам от моря до моря. Тощий, длинный, левый рукав плаща пустой, за-ткнут за пояс. Лицо обветренное, как старая подошва. Глаза хитрые, маленькие, как у крысы, которая пережила три пожара и всех кредиторов.

Тобб вошёл, осмотрелся, увидел Бэрона, подошёл и без спроса сел напротив. Бэрон морщнулся, едва заметно: Тобб сел не симметрично, стул сдвинут влево, левый локоть Тобба на столе, ножны Бэронова меча сдвинулись. Бэрон не подал виду, подвинул ножны обратно, тихо, на полдюйма, точно по краю стола. Тобб смотрел. Тобб давно привык. Тобб знал: Бэрон возится с ножнами, и не лезет. В этом, в сущности, и был секрет их долгой дружбы.

- Тобб, - сказал Бэрон и усмехнулся. - Ты постарел. Сильно постарел. И пиво тут, кстати, тоже постарело. Совпадение?

- Здорово, Бэрон. Тоже рад. Нет, серьёзно, рад. Я думал, ты сдох.

- Все думают, что я сдох. Я сам иногда думаю. А я, ви-

дишь, жив. Живу, ем, пью дерьмо. Ты-то как? Сиди, сиди, не стой. Только стул подвинь - ровно. Ровно моему. Вот так. Хорошо. Хозяйка! Эй, хозяйка! Неси ещё кружку. И вот этому, который без руки. И хлеба. Только ровный кусок, я тебя умоляю.

Тобб усмехнулся, покачал головой, но стул подвинул. Девка принесла кружку, Тобб попробовал, не поморщился, выпил полкружки одним глотком. Бэрон посмотрел на него с уважением.

- Вот это мужик, - сказал Бэрон. - Пьёт дерьмо и не морщится. Я бы морщился. Я и морщусь. А ты нет. Это, я тебе скажу, талант. Это и есть главный талант в нашем деле: пить любое дерьмо и не морщиться.

- Сорок лет пью, - сказал Тобб. - Привык. Когда ты сорок лет пьёшь любое дерьмо, перестаёшь различать, какое именно дерьмо ты пьёшь. Это, знаешь ли, освобождает.

- Освобождает, - согласился Бэрон. - Слушай, а жена как? Твоя. Ну, как её. Я забыл, как её зовут, прости. Старый стал. Имена забываю. Жена-то как?

Тобб помолчал. Потом медленно, без обиды, спокойно:

- У меня нет жены, Бэрон.

- Нет? Совсем?

- Совсем. Никогда не было.

- Странно. Я помню, что была. Я помню, что ты мне рассказывал про неё. Что-то такое. Что она... ну, что-то.

- Ты путаешь. У тебя, наверное, была жена. У меня - нет.

- У меня тоже не было, - сказал Бэрон и вдруг неловко, сильно неловко, так неловко, что рука сама потянулась поправить кружку, потом ножны, потом край скатерти. Подвинул кружку на полдюйма. Подвинул ножны на полдюйма. Стало чуть легче, не намного. - Ну, значит, я перепутал. С кем-то. Старый стал. Помню то, чего не было. Не помню того, что было. Ладно. Хозяйка! Эй, хозяйка! Неси ещё! И рыбу! И скажи повару, если это можно назвать поваром, что рыба должна быть солёная, а не пересушенная, как старый сапог.

- Бэрон, - сказал Тобб. - Я не за этим пришёл.

- Знаю, что не за этим. Знаю, что ты не по пиву соскучился. Ты, стало быть, пришёл по делу. Ну? Говори. Я слушаю. Только сначала выпей. И закуси. Хлеб, между прочим, сегодня не такой кривой, как вчера. Бери вон тот край. Тот, что подрямее.

Тобб взял хлеб, откусил, пожевал, запил элем. Бэрон следил, чтобы жевал ровно, не крошил, не бросал крошки мимо тарелки. Тобб крошил. Тобб бросал. Бэрон терпел, после Карренхолла привык терпеть многое, и чужие крошки в том числе.

- Работа есть, - сказал Тобб наконец. - Для тебя. Сопроводить одного человека на север, к границе Венмарка и немного дальше. Зовут Кэл Морвен. Бывший солдат.

Имя легло на стол, как мокрая тряпка, и Бэрон не шевельнулся. Кэл Морвен. Он не знал этого человека, но знал на-

звание, и название было одно - Карренхолл, и Карренхолл знали все, кто воевал на востоке двадцать лет назад: деревня в горах Венмарка, вырезанная Палаточным полком за ересь, и полк потом распустили, якобы за мародёрство, но Бэрон знал, что за другое. За то, что солдаты слишком много видели, или слишком мало забыли, или и то и другое сразу, и за то, что в этом деле было что забывать. Кэл Морвен. Один из тех, кто резал.

Бэрон не знал его лично. Зато знал таких, как он, по десяткам других имён, и все эти имена пахли одинаково, и все эти люди одинаково спали с открытыми глазами, и всех их одинаково тошнило по утрам, и все они одинаково молчали, когда заходила речь о том, о чём заходила речь. И вот теперь ему, Бэрону Мохру, предстоит ехать с этим человеком в горы, в то самое место, где тот резал, и не просто ехать, а охранять его, и кормить его, и спать с ним у одного костра. Эта спина, которая в Карренхолле назад заносила меч над шестилетними, теперь будет считаться своей, и Бэрон будет за неё отвечать.

От этой мысли Бэрона слегка замутило. Он машинально подвинул кружку на полдюйма влево, потом на полдюйма вправо, потом обратно, в исходную. Тошнило его не от эля и не от хлеба, а от того, что работа есть работа, и от работы не отказываются, особенно когда молчать о Котах и о кольце Сэндэра с каждым месяцем становится дороже, а денег на это молчание нужно всё больше.

- Карренхолл, - сказал Бэрон вслух, и голос его стал ровным, без обычной балагурной интонации.

Тобб не ответил. Но и не отверг, что было, по сути, ответом.

- Ты хочешь, чтобы я довёл этого старика до места, где он резал детей. Это так?

- Это так. Только не обратно, а к подземельям под деревней. Там, по слухам, что-то есть. Что именно - я не знаю. И знать не хочу.

- Сколько платят?

- Сто талеров.

Бэрон не пошевелился. Сто талеров - это много. Сто талеров - это новая кольчуга, новый меч, новый плащ, и ещё останется на то, чтобы жить вот так каждый вечер до конца года. Или - на то, чтобы уехать. На юг, в Песчаные Края, где его никто не знает, где нет Котов, нет Бринна Высокого, нет тех, кто хочет его прирезать. Сто талеров - это свобода. Или её жалкое подобие, что в его положении одно и то же.

- Сто, - повторил Бэрон и, не торопясь, добавил: - Мало.

- Мало? Сто золотом - мало?

- Мало, Тобб. Сто - это за сопровождение из точки А в точку Б, по тракту, под охраной, без приключений. А у тебя - Венмарк. А у тебя - зимой. А у тебя - чуть дальше. Это двести. Минимум.

- Двести? Ты совсем поехал? Двести за сопровождение одного старика?

- Один старик, который, по слухам, вырезал деревню, в горах, зимой, чуть дальше Карренхолла. Двести, я тебе скажу, дёшево. За двести я бы тебя самого послал. А за сто - не пойду. Ищи дурака.

- Бэрон, - сказал Тобб. - Не хорошо так. Мы же друзья. Друзья не торгуются.

- Друзья торгуются в первую очередь. Друзья - это те, кто знает цену друг друга. Незнакомцы не торгуются, те платят, что скажут, и уходят. А друзья торгуются, потому что друзья - это надолго. И если я сейчас возьму мало, ты запомнишь, и в следующий раз дашь ещё меньше. А я не хочу, чтобы ты запомнил. Я хочу, чтобы ты знал: Бэрон Мохр - двести. Не сто. Не сто пятьдесят. Двести.

Тобб вздохнул, отпил эля, посмотрел на Бэрона, посмотрел на дверь, посмотрел снова на Бэрона.

- Сто пятьдесят.

- Сто восемьдесят.

- Сто шестьдесят. И это последнее.

- Сто семьдесят. И лошадь. Своя. Не из ваших кляч, которых ты обычно выдаёшь за боевых. Нормальная. С подковой. С седлом. С тёплой попоной. Я не собираюсь мёрзнуть на твоей кляче.

- Лошадь - хорошо. Сто шестьдесят и лошадь.

- Сто семьдесят и лошадь.

- Бэрон!

- Сто семьдесят. И лошадь. Или я сажу тут и пью козли-

ную мочу до конца дней. Мне, между прочим, нравится. Я привык. Я тут тридцать лет пью. Могу и сорок, и пятьдесят. Хозяйка уже знает, что я люблю. Хозяйка, если что, меня привечает. Хозяйка меня терпит. Так что я не тороплюсь. А ты торопишься. Я вижу. Ты торопишься. А я нет. Сто семьдесят и лошадь.

Тобб посмотрел на него долго, потом махнул рукой. Единственной. Но махнул.

- Ладно. Сто семьдесят. И лошадь. И аванс. Сорок талеров. Сегодня. Золотом.

- Сорок - это аванс? Сорок - это, я так понимаю, не аванс, а задаток. Аванс - это половина. Восемьдесят пять.

- Бэрон!

- Хорошо, хорошо. Сорок. Задаток. Но я тебя предупреждаю - если я доеду и выяснится, что на том конце меня ждут нехорошие люди, я разворачиваюсь и еду обратно. С задатком. И лошадей. И, возможно, с твоей головой в сумке. Это не угроза. Это условие.

- Договорились, - сказал Тобб и достал из-за пазухи маленький кожаный кошелек. Тяжёленький. Положил на стол. Бэрон взял, взвесил на ладони. Ровно. Открыл, считать не стал - потом. Закрыв. Положил параллельно краю стола. Подвинул на полдюйма. Аккуратно.

- Кто заказчик? - спросил Бэрон.

- Церковь, - сказал Тобб.

- Церковь, - повторил Бэрон без интонации, не выругался,

хотя хотелось. - Какого хрена церкви от меня надо.

- Не от тебя. От того, кого ты будешь сопровождать. Тебя нанимают как меч. Точка. Меч не задаёт вопросов. Меч режет.

- Я не меч, Тобб. Я Бэрон Мохр. И я, между прочим, задаю вопросы. Особенно когда мне платят сто семьдесят талеров за то, чтобы я кого-то куда-то сопровождал. Что церкви надо в подземельях под Карренхоллом?

- Не знаю. Честно. Знаю только, что старик живёт где-то в горах Венмарка, что церковь его нашла, и что теперь они хотят его использовать. Зачем - мне не сказали. Мне сказали: найди Бэрона Мохра. Дай ему сорок талеров. Скажи про сто семьдесят потом. Всё. - Он развёл одной рукой. - Я посредник, Бэрон. Посредники не знают того, что знают заказчики.

- Посредники обычно знают чуть больше, чем говорят.

- Это правда, - Тобб усмехнулся. - Я знаю, что у старика нет одной руки. Что он, по слухам, вырезал целую деревню тогда. Что церковь считает его единственным живым человеком, который знает тропу к одному очень специфическому месту. Этого достаточно?

- Достаточно, - сказал Бэрон, и в голове у него сложилось окончательно: бывший солдат, без руки, деревня, Кэл Морвен, Карренхолл, подземелья, церковь. Сложилось. Не полностью, но достаточно, чтобы понять: дерьмом пахнет всё сильнее с каждой минутой, и хорошо ещё, что платят сто семьдесят, потому что за сто он бы, пожалуй, не пошёл, а за

сто семьдесят - пойдёт, потому что у него нет выбора, и выбора не было уже давно, и он перестал делать вид, что есть.

Они посидели ещё. Тобб заказал ещё эля, того же самого, что и Бэрон. Бэрон попробовал, поморщился. Тобб выпил. Бэрон подумал: вот мужик. Сорок лет пьёт любое дерьмо. Этому-то и надо учиться в нашем деле. Не мечу учиться. Не тактике. А вот этому - пить любое дерьмо и не морщиться. В этом и есть секрет.

- Тобб, - сказал Бэрон после паузы. - Ещё одно.

- Ну.

- Три талера в день. Поверх ста семидесяти. На еду, на ночлег, на корм лошади. Три талера. Не два. Не полтора. Три.

- Два.

- Два пятьдесят.

- Два.

- Два двадцать пять.

- Два, Бэрон. Два талера в день. И это окончательно. Если хочешь три, иди сам с собой торгуйся.

- Ладно. Два. Но если на дороге будет плохо. Если будет снег. Если будет бой. Если будет что-то ещё - три. Автоматом. Без торга.

- Ладно. Если будет плохо - три.

- И ещё.

- Что ещё?

- Если я сдохну, - сказал Бэрон, и голос его вдруг стал ровным, без обычной балагурной интонации, без торговли, без

шуточек про козлиную мочу, - если я сдохну, ты относишь мой меч.

- Куда?

- У меня есть дочь, - сказал Бэрон.

Тобб посмотрел на него долго.

- У тебя есть дочь?

- Есть. Не спрашивай. Просто меч дочери. Если со мной что-то случится. Если не вернусь. Если сдохну где-нибудь в горах. Ты относишь меч. По адресу. Я тебе адрес дам. Перед выездом. Не сейчас. Перед. Это условие.

- Бэрон...

- Не спрашивай, Тобб. Не спрашивай. Просто меч дочери. Это всё, что я прошу. Остальное - твоё. Задаток, лошадь, всё. Меч - дочери.

Тобб помолчал. Потом медленно кивнул.

- Хорошо, Бэрон. Меч дочери. Я отвезу.

- Спасибо, - сказал Бэрон и снова обычным тоном: - Хозяйка! Эй, хозяйка! Неси ещё! И скажи повару, если это можно назвать поваром, что рыба должна быть солёная, а не пересушенная, как старый сапог. И где мой второй хлеб? Я просил второй хлеб. Ровный. Я тебе объяснял - ровный. Принеси. Тебе говорили - ровный. Что ты мне несёшь?

Тобб усмехнулся, покачал головой, допил эль, поставил кружку. Не ровно - Бэрон поморщился, подвинул. Прямо. Тобб не заметил. Или сделал вид, что не заметил.

- Когда выступаем? - спросил Бэрон.

- Через два дня. Старик будет в Сальтмарке. Я тебя найду.
- Хорошо. Через два дня. А сейчас - седи. Пей. Закусывай.

Я угощаю. Сорок талеров - это, знаешь ли, можно и угостить старого друга.

- Бэрон, ты же понял, что аванс - это аванс. Его тратить нельзя.

- Аванс - это аванс. А угощение другу - это угощение другу. Это разные категории. Я пью за свой счёт. Ты пьёшь за свой. Хозяйка! Две кружки! И рыбу! И хлеб! Ровный!

Тобб посидел ещё, поговорили о старых делах, о войне, о мёртвых друзьях, о северных холодах, о том, кто кого видел последний раз и где. Бэрон слушал вполуха. Голова была занята. Голова прокручивала маршрут, расписание, запа-сы, маршрут обратно. Семь пунктов. Семь - хорошее число. Семь - симметричное. Он выложил их в уме, как камешки на доске. Один - выход. Два - маршрут. Три - провизия. Четыре - оружие. Пять - запасной маршрут. Шесть - тайник. Семь - назад. Хорошо. Можно работать.

Потом Тобб ушёл. Поднялся, хлопнул Бэрона по плечо - единственной рукой, но так, что Бэрон качнулся на стуле. Бэрон побледнел. Не от удара - от того, что его качнули. Симметрия нарушилась. Но он не показал. Подождал, пока Тобб дойдёт до двери. Потом медленно, аккуратно выпрямился. Посчитал про себя. Один. Два. Три. Четыре. Пять. Шесть. Семь. Плечо выровнялось. Стул выровнялся. Меч выровнялся. Мир снова выносим.

Бэрон остался один. С водой, с кошельком, с мечом, с прошлым. Хозяйская дочка принесла ещё воды, посмотрела на него долгим взглядом, в котором читалось что-то среднее между жалостью и расчётом. Бэрон отвернулся. Не его вечер. Не её проблема.

Он сидел и думал. Думал методично, раскладывал, как кармешки. О Серых Котах. О Бринне Высоком, который доверял ему. О тех парнях, которых он продал три года назад в болотах Хаарлена за двести талеров и обещание амнистии. Амнистии не дали, с какой стати. А двести талеров он не пропил. Он не пил. Он их потратил. На еду, на кольчугу, на меч, на место для сна. Без остатка. И парни, те, кто остался жив, разбежались. А потом их начали находить мёртвыми. По одному. По два. В канавах, в реках, в собственных постелях. Кто-то методично, спокойно, без суеты их вычищал. И Бэрон знал, кто. Он просто не знал, почему. Не тогда. Теперь, может, и знал. Теперь начинал догадываться.

Коты знали слишком много. Не про ересь, не про церкви, не про архиепископов. Коты знали про канцлера. Про кольцо с семью лучами, которое носил Сэндэр вэн Доль на среднем пальце левой руки. Бэрон видел это кольцо один раз, на приёме у одного мелкого графа. Сэндэр тогда был ещё просто канцлером, без всяких особых амбиций. Или с амбициями, но скрытыми. И он жестикулировал, и кольцо блеснуло, и Бэрон, который вырос на улицах Сальтмарка и знал все знаки всех банд, мгновенно узнал этот символ. Семь лучей.

Семеро. Ересь, за которую жгли на кострах.

Он тогда не придавал значения. Канцлер - большой человек, ему виднее. Может, перстень фамильный. Может, просто красивый. Бэрон забыл. А потом начали умирать Коты. И вспомнить пришлось.

За окном моросил мелкий осенний дождь. Сальтмарк засыпал. Где-то далеко, на севере, его ждал старик, который знает горы Венмарка и резал в них детей. И церковь, которая очень этого старика боится. И сто семьдесят талеров золотом. И, может быть, тихая старость у моря, в домике, ровно посередине между двумя другими. А может, и нет. Может, просто яма в горах и вороны на ней. Кто ж знает. Работа есть работа.

Бэрон Мохр встал. Аккуратно. Без рывков. Проверил: меч на поясе, кошель в кармане, стул задвинут ровно, точно по столу. Пошёл к двери - три шага, три секунды на паузу, толкнул дверь, вышел.

Таверна осталась позади. Дождь лил в лицо. Бэрон не поднял капюшон. Он шёл ровно, по краю мостовой. Мир был несимметричен, но потерпимо. Бэрон умел терпеть. Это было единственное, что он умел хорошо.

А ещё он умел другое. Достал из кармана маленький клочок бумаги и карандаш. Записал адрес. Тщательно. Мелко. Дочь. Улица Угольная, дом четырнадцать, второй этаж, окно на восток. Спрятал бумажку в тайный карман, тот, что внутри пояса. Похлопал. На месте. Если что - Тобб найдёт. Тобб

- мужик. Тобб довозёт. Хотя бы меч.

Глава 6. Пешка на белом поле.



— Карвер Дорн —

Лорд-советник Карвер Дорн, двадцати восьми лет от роду, сидел в приёмной канцлера Сэндэра вэн Доля и ждал. Ждал двадцать минут. Это было нормально. Возмущаться было бы глупо: возмущение ничего не меняет и лишь выдаёт слабость тому, кто заставил тебя ждать. А Сэндэр и без того знал, где у Карвера слабость, и держал его именно потому, что она есть.

Приёмная была отделана с той сдержанной роскошью, которая выдаёт старые деньги: тёмное дерево, тонкая резьба, дорогой неяркий ковёр. Над камином висел портрет какого-то предка Сэндэра. Предок смотрел на Карвера сверху вниз — как смотрели все предки Сэндэра, какое бы выражение у них ни было при жизни. Карвер смотрел в ответ и думал, что под слоем краски на холсте — кости, и что-то же будет и с этим предком, и с канцлером в соседней комнате. Единственная разница между покойником на холсте и покойником за дверью в том, что один уже закончил гнить, а другой ещё гниёт, и от него ещё пахнет.

Карвер сидел ровно. Спина прямая, колени вместе, ладони на бёдрах. Утром в Грандмарке убили архиепископа Эльдreda. К вечеру Карвер был вызван к Сэндэру. Между этими двумя событиями — ничего: ни официальных сообщений, ни слухов при дворе, ни бумаг. Сэндэр прислал слугу, тихо, без лишних слов, и Карвер приехал. Это было правильно. С тех пор, как Карверу исполнилось двадцать и он потерял перво-

го покровителя - графа Маршалла, который сделал ошибку не того человека обидеть и был найден утром в собственной постели с выражением крайнего удивления на лице, Карвер усвоил правило: канцлер всегда прав, а если не прав, смотри пункт первый.

Дверь открылась. Секретарь канцлера, тощий молодой человек с лицом дохлой рыбы, кивнул.

— Лорд Дорн? Его сиятельство ждёт.

Карвер встал без рывка, оправил камзол - серо-стальной, без кружев, без вышивки - и вошёл.

Кабинет канцлера был скромнее приёмной: большой стол, заваленный бумагами, камин, два кресла. Сэндэр стоял у окна спиной к двери и смотрел на вечерний Грандмарк. Худой. Слишком худой. Тонкое лицо и постоянная полуулыбка, которая никогда не доходила до глаз. Ему было пятьдесят два. Выглядел он на шестьдесят. Кожа на висках натянута. На скулах — желтоватый оттенок, какой бывает у людей с больной печенью: тот самый оттенок, который лекари называют «печёночной маской», а попросту — желтухой, и который означает, что печень перестала фильтровать и кожа пожелтела, и это уже не лечится ни отварами, ни молитвами, ни золотом. Шея тоньше, чем зимой. Воротник камзола сидит свободно, как на чужом.

- Карвер, - сказал Сэндэр, не оборачиваясь. - Спасибо, что приехал.

- Ваша светлость. - Короткий поклон.

- Садись.

Сэндэр помолчал у окна, потом повернулся и сел напротив. Полуулыбка на месте. Но Карвер теперь видел под ней стиснутые зубы. Желваки проступали под кожей. Это не улыбка. Это оскал сквозь боль. Карвер видел такое у своей матери перед тем, как она умерла. У отца, когда печень уже не справлялась. Сэндэр болен. Сэндэр умирает.

И вот тут, мимо всякого уважения к сану и к сединам, в голове у Карвера пронеслась мысль, которую он оставил при себе, но которая стоила того, чтобы её подумать.

Значит, вот так. Все эти трактаты, и посольства, и войны, и интриги, и ереси, и соборы, и костры, и решение судеб королевств, и судьбы тысяч людей, которые завтра пойдут умирать или не пойдут, — всё это висит на куске гниющей плоти размером с кулак, который сидит сейчас напротив и делает вид, что ничего не случилось. Вся политика Грандмарка. На поджелудочной железе. На протоке, который, надо полагать, уже перекрыт опухолью и боль от этого — тупая, без передышки, от которой стискивают зубы и побелевшими костяшками впиваются в подлокотник.

Карвер год назад знал, что у Сэндэра опухоль. Сэндэр не говорил. Карвер не спрашивал. Это было между ними - молчаливое знание, единственный вид честности, на который оба были способны. Карвер видел такое трижды. Все трое умерли. Один - через шесть месяцев. Второй - через четыре. Третий - через три, и тот орал в конце так, что соседи по па-

лате просили переселить. Сэндэр, надо полагать, тоже орал бы, если бы мог себе позволить. Но канцлеры не орут. Канцлеры стискивают зубы и улыбаются. И умирают с улыбкой.

- Ты слышал новости, - сказал Сэндэр.

- Ваша светлость, я слышал только то, что вы сочли нужным мне сообщить. Что, в свою очередь, означает, что я слышал всё, что мне положено слышать, и ничего из того, что мне положено не слышать.

Сэндэр усмехнулся. Усмешка чуть расширилась - и тут же схлопнулась. Он замер. Глаза, серые, обычно непроницаемые, стали стеклянными. Пальцы правой руки, лежавшей на подлокотнике, побелели. Костяшки. Сжатие. Сэндэр медленно выдохнул через нос. Взгляд вернулся. Будто и не было.

Карвер не отреагировал. Внешне. Внутренне сделал пометку: приступ боли, локализация - предположительно правое подреберье, печень или поджелудочная. Карвер не комментировал. Комментарии - лишнее движение. Отмечать - его работа.

И снова мимо всякой почтительности: в этот самый момент, когда канцлер стискивает зубы и держится за бок, где-то в границах Арденнии стоит какой-нибудь полк, и какой-нибудь полковник ждёт приказа, и приказ этот зависит от того, выдержит ли ещё неделю проток, закупоренный опухолью. И не лопнет ли в ближайшую ночь желчный пузырь. И если лопнет — то всё, потому что перитонит не разбирает санов, и канцлер умирает от перитонита точно так же, как умирает

от него последний оборванец в канаве, в этом есть своя демократичность, которой Сэндэр очень не хотел бы.

- Архиепископ Эльдред мёртв, - сказал Сэндэр так же ровно. - Этой ночью. Убит в собственной исповедальне.

- Кем, - сказал Карвер. Не вопрос - уточнение.

- Этого пока никто не знает. Вырван язык. На груди - клеймо Семерых.

- Понял.

Сэндэр помолчал.

- Карвер, я хочу, чтобы ты помог инквизиции в расследовании.

Карвер чуть приподнял бровь - единственное, что изменилось в его лице. Помочь инквизиции. Скверный приказ. Инквизиция не терпит чужаков, не делится информацией, не любит советников канцлера и не любит всех прочих, кто суётся с советами в дела, которые они считают исключительно своими. Сэндэр это знал. И тем не менее посылал. Значит, было зачем.

- Инквизиция не примет меня с распростёртыми объятиями, - сказал Карвер. - Это, я думаю, вы и сами понимаете. Инквизиция вообще никого не принимает с распростёртыми объятиями, а советника канцлера - в особенности. Стало быть, если вы меня туда посылаете, у вас есть на то основания, которые перевешивают неудобство того, что меня там будут ненавидеть.

- Разумеется, не примут. Поэтому ты поедешь как совет-

ник канцлера. С официальным письмом. С рекомендацией.

- Должны. Но могут не принять.

- Могут. Но тогда они будут иметь дело со мной. А иметь дело со мной, как ты знаешь, нелегко.

- Знаю, - согласился Карвер. - К сожалению, слишком хорошо.

- Цель, Карвер, проста. Инквизиция должна найти убийцу. Ты должен помочь. И, в процессе, ты должен сообщать мне - лично, каждый вечер, что именно инквизиция нашла. И что именно она ещё не нашла, но, по твоему мнению, найдёт.

- Шпионаж, - сказал Карвер без эмоций, просто название. Сэндэр хочет знать всё, что знает инквизиция, и хочет знать это раньше, чем инквизиция успеет этим воспользоваться, и для этого ему нужен человек, который умеет быть незаменимым. Карвер умел быть незаменимым. В этом и состояла вся их долгая и плодотворная профессиональная связь.

- Называй как хочешь. Каждый вечер. Лично. Это всё.

- Я понял. Я сделаю. Когда.

- Бумаги будут у тебя завтра утром. Выезжай в собор в полдень.

- Хорошо.

Тут Сэндэр наклонился чуть вперёд, и Карвер уловил запах. Слабый, кисловатый, как от тела, которое внутри уже начало разлагаться, хотя снаружи ещё держится. Что-то из самого Сэндэра. Запах распадающегося тела. Карвер знал

этот запах - и по моргу, куда его однажды водил лекарь-анатом, и по дому, где умирал отец, и по палате, где умирала мать. Запах аммиака. Лекарь-анатом в своё время объяснял: умирающая печень - умирающий фильтр, и когда фильтр отказывает, в кровь выходит всё то, что в норме должно было выйти через мочу и через пот, но выходит через дыхание и через кожу, и от человека начинает пахнуть так, словно он уже неделю лежит мёртвым, хотя он ещё сидит напротив тебя и улыбается полуулыбкой.

Карвер не поморщился. Карвер ждал.

- И ещё одно, Карвер. Если инквизиция найдёт что-то конкретное. Что-то, что касается церкви или прошлого архиепископа. Что может поставить под угрозу репутацию Пламенного Ока. Дай мне знать немедленно. До официального доклада. До любых разговоров с братьями-дознавателями. До всего.

- Я понял.

- У тебя есть вопросы.

- Один. Почему я.

Сэндэр усмехнулся. Усмешка на этот раз дошла до глаз - холодная, чёрная, как вода в глубоком колодце. И снова: замер, челюсть стиснута, костяшки побелели. Правая рука медленно поднялась к животу, коснулась подрёберья, медленно опустилась. Сэндэр этого не заметил. Или сделал вид.

- Потому что, - сказал Сэндэр, - ты единственный, у кого нет ни принципов, ни прошлого, ни репутации, которую он

боится потерять. Ты функция.

Карвер не ответил. «Функция», Сэндэру нравилось так его называть. Карвер не возражал: возражать против чужого самообмана - лишнее движение.

- И ещё. У тебя нет друзей. Ни одного. Я проверял.

- Это правда, - согласился Карвер. - У меня нет друзей. Друзья - это обязательства, обязательства - это слабости, а слабости убивают при дворе быстрее, чем нож. Я предпочитаю умирать медленно и от чужого ножа, а не быстро и от своего.

- Хорошо. Иди. И помни - каждый вечер. Лично.

Карвер встал. Поклонился. Коротко. Сэндэр протянул руку для пожатия. Карвер пожал. Правой.левой тоже. Сэндэрова рука - холодная, как лёд. Плохое кровообращение. И, что хуже, на среднем пальце левой, под тяжёлым золотым перстнем с тёмным камнем и тонкой гравировкой, кожа была неестественно гладкой и имела цвет, который Карвер, по медицинской части насмотревшийся, узнал сразу: зелёный. Как у мёртвеца на четвёртый день в сыром погребке. Перстень сидел на этом пальце, как пробка на бутылке с бродящим вином, и палец под ним, надо полагать, давно уже не подавал сигналов вверх, потому что нервные окончания умирают первыми.

В коридоре остановился. Не прислонился к стене - просто остановился. Ровный. Прямой. Дыхание ровное. Сердце ровное. Обе руки спокойные. Карвер не дрожал. Карвер ни-

когда не дрожал. Это и было его вторым главным умением, после умения ждать: не дрожать, когда все вокруг дрожат. Он научился прятать страх так глубоко, что сам его не находил. Страх у него был, просто он лежал на дне, как камень, и Карвер на него опирался.

Семь лучей. На руке Сэндэра. Карвер видел год назад. Тяжёлое, золотое, с тёмным камнем. Вокруг камня - тонкая гравировка. Семь лучей. Точно такое же клеймо, какое, по словам Сэндэра, нашли на груди убитого архиепископа. Знак Семерых. Это знание было единственным настоящим козырем Карвера, и козырь этот стоил того, чтобы беречь его до момента, когда его можно будет разыграть. Момент этот ещё не пришёл. И, может, не придёт никогда. Но Карвер терпелив.

Карвер выпрямился. Оправил камзол. Прошёл по коридору ровно, не торопясь, с той особенной спокойной грацией, которая отличает людей, знающих свой протокол. У выхода из дворца обернулся. Посмотрел на окна канцлера. Огонь в камине. Тени за стеклом нет. Сэндэр, надо полагать, уже сел обратно в кресло, держится за бок, страдает. Умирующие кукловоды - самые опасные. У них нет времени на осторожность.

- Каждый вечер, - сказал Карвер тихо, обращаясь к окну.
- Лично. Я понял.

И ушёл.

В особняке на улице Серебряников горел камин и свеча

на столе в кабинете. Карвер не любил темноту. Это была его единственная слабость. Детский чулан. Отец. Голоса в темноте, которые шептали, смеялись, звали. Карвер вырос, но свечу он оставлял каждую ночь в углу кабинета. Этого хватало, чтобы темнота оставалась темнотой, а не становилась тем, чем она была в детстве.

Свой организм Карвер держал в порядке, как держат в порядке хорошо подогнанное оружие: ел по часам, спал пять часов - не больше и не меньше, - раз в неделю пускал кровь, дабы не застаивалась, по утрам проверял пульс и цвет мочи. Он знал о собственном теле всё, что можно было знать: возраст, износ, остаточный ресурс. К тридцати годам он рассчитывал получить назначение в совет. К тридцати пяти — стать полезным Сэндэру настолько, чтобы Сэндэр не решился его убрать. К сорока - либо занять его место, либо уйти на покой с состоянием. Если, конечно, печень выдержит. У него в роду все умирали от печени и отец, и дед. Карвер же питался по плану, который сам себе составил по книгам лекаря Гарвенского, и считал, что его печень, теоретически, продержится дольше, чем у отца.

Он сел за стол. Журнал, тонкий, в чёрном кожаном переплёте, лежал в ящике, запертый, ключ на шее. Но Карвер не открыл его. Некоторые вещи не записывают. Некоторые вещи хранят там, где их не найдёт ни канцлер, ни вор, ни инквизиция, - в собственной голове, которая заперта надёжнее любого замка, потому что у неё нет ключа, кроме топора.

Хэлберт. Шесть месяцев назад. Сэндэр вызвал, сказал - убраться, без шума, без следов. Карвер согласился, потому что не соглашаться было нельзя, а согласиться молча - дешевле, чем согласиться с разговорами. Лестница. Спина Хэлберта под рыжей домашней рясой. Толчок - короткий, без тех лишних сантиметров, которые поэты приписывают падающим телам. Никакого раскаяния, никакого стыда — раскаяние и стыд есть роскошь людей, у которых есть выбор, а у Карвера выбора не было с тех самых пор, как ему исполнилось двадцать. Это не нужно было записывать, потому что это и так не забылось бы, если бы он прожил ещё тысячу лет, а проживёт он, по всем расчётам печени, гораздо меньше.

Он посмотрел на пламя свечи в углу, ровное и жёлтое. Это хорошо: когда свеча дрожит, значит кто-то дёргает воздух, кто-то дышит рядом, а когда свеча ровная, значит Карвер один. И хорошо, когда в углу горит свеча. Тогда детство не такое страшное, и можно лечь спать, и спать спокойно, и видеть сны, в которых нет ни Хэлберта, ни Сэндэра, ни чулана, а есть только тишина, и тёплый свет, и ничего больше.

И этого достаточно, чтобы завтра встать, проверить пульс, проверить цвет мочи, подумать о печени — и снова идти работать. На человека, который сам, возможно, не доживёт до весны. На человека, который, даже умирая, держит руку на горле у королевства. На человека, чей палец уже гниёт под перстнем, но перстень всё ещё блестит, и все при дворе делают вид, что не чувствуют запаха.

Глава 7. Тень Матери.



— Рената вэн Доль —

Утро было серым — таким, как Рената любила. Серым, как зола, как внутренность склепа, как небо над Венмарком в любой месяц. Серое небо не обещает ничего, а Рената давно перестала верить обещаниям.

Она сидела у туалетного столика и расчёсывала волосы. Щётка проходила сквозь чёрные с проседью волосы. Живот ныл. Боль пришла с рассветом, как приходила каждое утро последние восемь лет. Рената прижала ладонь к низу живота. Привычка. Восемь лет привычки.

На завтрак ей принесли хлеб и воду. Она не притронулась. Пятый день почти не ела. Кусок стоял в горле. Желудок давно сжался до кулака и не хотел большего. Иногда, раз в три дня, она заставляла себя выпить бульон — один кубок, чтобы не упасть, чтобы жить. Жить, чтобы вернуть. Это и был весь смысл: вернуть. Всё остальное было приложением.

Стук в дверь был тихим — два коротких, один длинный, условный знак, который Несса, надо отдать ей должное, выучила с первого раза и с тех пор не путала, что для пятнадцатилетней соборной послушницы, в сущности, уже почти подвиг.

— Войдите, — сказала Рената, не оборачиваясь.

Несса была её созданием уже два года — купленной за единственную валюту, которая имела ход в соборах, то есть за страх, и за единственную валюту, которая имела ход, то

есть за надежду. Рената дала ей и то, и другое: страх того, что случится, если Несса оступится, и надежду на то, что однажды Рената защитит её от всего остального. Сделка была, классической, и Несса, никогда не делала вида, что не понимает.

Несса присела в реверансе. Руки дрожали, как дрожат у всех, кто стоит перед Ренатой больше тридцати секунд. У Нессы были каштановые волосы, серые испуганные глаза. Арвеллу было семь.

Мама, не надо, мама, щекотно.

Арвелл засмеялся. Тихо, тонко, как смеялся в три года, когда Рената щекотала ему живот. Рената моргнула. Арвелл умолк. Это, конечно, был не Арвелл. Арвелл умер восемь лет назад в маленькой комнате в Венмарке, на её плече, с маленькой горячей рукой, сжимающей ей большой палец. Его последним словом было «мама». Его последним вздохом был тонкий хриплый всхлип, который она будет слышать в тихие минуты всю оставшуюся жизнь, а «оставшаяся жизнь», по всем признакам, должна была быть долгой, потому что судьба решила не даровать ей и этой милости.

Голос, который она слышала теперь, — не его. Это её память о нём, которая стала настолько громкой, что отделилась от неё и зажила своей жизнью, говорит с ней, смеётся, просит, плачет, как живой. Рената знала, что это не он. Знала головой, но для неё он был реален. Реальнее, чем Несса. Это осознание жило в одной части мозга, голос — в другой, меж-

ду ними зияла пропасть, и голос выигрывал эту войну каждый раз, без единого исключения.

— Говори, — сказала Рената. Голос остался ровным. Это и было её главное умение: говорить ровно, когда внутри шторм.

— Владыка Эльдред... — девушка сглотнула, и сглотнула ещё раз, Рената мысленно отметила, что сегодня сглатываний больше обычного, а значит, весть и впрямь скверная. — Владыка Эльдред мёртв, госпожа. Этой ночью. В соборе. Ему вырвали язык. На груди — клеймо.

Мама, щекотно.

Голос пришёл не сразу. С задержкой в полсекунды и это было что-то новое. Обычно, голос приходил мгновенно. Сейчас — с задержкой. Может быть, болезнь меняет ритм. Восемь лет это больше, чем может вынести одна голова, и голова начинает сдвигаться. И голос начинает опаздывать. Скоро он опоздает на секунду, потом на две, потом на минуту, а потом — навсегда. И тогда наступит тишина, это хуже, чем голос, даже если голос не его.

Рената не прекратила расчёсывать. Щётка проходила сквозь волосы, словно ничего в мире не переменялось, потому что архиепископ был инструментом, инструменты ломаются, находишь другой или делаешь.

— Кто ещё знает?

— Брат-капеллан Гаудер. Брат-командор Мэллус. Патруль, который нашёл тело. Каноник Фэй. И... и канцлер, гос-

пожа. Канцлер уже знает.

Разумеется, знал. У Сэндэра вэн Доля были свои создания в соборе — как у Ренаты свои, разница в том, что его были лучше пристроены и носили рясы старших каноников, а не серое платье послушниц. Сэндэр опережал её с самого начала. Он опережал всех. Это была главная причина, почему она вступила с ним в союз, а не пошла против, у Ренаты такого желания не было, у неё было только одно желание, и оно не имело отношения к Сэндэру.

— Хорошо, — сказала она. — И, Несса...

— Да, госпожа?

— Ты ничего не видела. Ты ничего не слышала. Ты молилась в общежитии всю ночь. Три сестры подтвердят. Я уже поговорила с ними.

Девушка присела и выскользнула, снова беззвучно. Рената мысленно поблагодарила себя за то, что хорошо выбирает людей. Когда Несса вышла, Арвелл заговорил шёпотом снова, с той же отставшей на полсекунды интонацией.

Мама, мне холодно.

Рената знала, что делать, когда он начинал говорить про холод. Она медленно, как кладут оружие, поднялась, подошла к кровати, задрала подол. На бёдрах, под тонким полотном нижней рубахи, лежали шрамы — десятки, старые белые, ровные, как нитки, и свежие красные, припухшие, один ещё не затянувшийся, с коркой. Все это читалось как летопись, в которой каждая строка была датой, когда голос за-

молкал, и каждая строка была датой, когда Рената возвращала его. Она достала из-под подушки маленький нож — бритвенный, как у её покойного мужа, тот пользовался подобным для бороды. Муж походил на этот нож: тоже был тонкий, острый, неглубокий и в конце концов сгинул туда же, куда ушел Арвелл, только без всякой торжественности. Лезвие было тонкое, острое. Рената прижала его к внутренней стороне левого бедра. Провела — коротко, не глубоко, хватит.

Боль вспыхнула чистая, ясная, настоящая. Она заглушила всё остальное: и фантомную тяжесть в животе, и задержку голоса, и серое утро, и Нессу, и Эльдреда, и Сэндэра, — на секунду, на две, на три, и этого было достаточно.

Мама. Мама, я тут.

Рената закрыла глаза. Хорошо, он не замолкнул, и она не одна. Она опустила подол, убрала нож, вытерла кровь тряпкой, спрятала тряпку в камин, где она дотлеет к обеду вместе со вчерашней, и села обратно к столику и посмотрела на себя в маленькое серебряное зеркало — высокие скулы, серые глаза, первые серебряные нити в чёрных волосах, и скулы слишком острые, и под глазами тени, и всё вместе это было лицо женщины, которая восемь лет выполняла одну и ту же процедуру возвращения того, что вернуть нельзя.

Она оделась. Чёрное, как всегда. Простое придворное платье, без украшений, кроме тонкой серебряной цепочки на горле — без кулона. Когда-то кулон был: крошечная распис-

ная миниатюра мальчика с тёмными глазами. Но она потеряла её вместе с ним, потому что не могла вынести смотреть и не могла вынести выбросить, а цепочку оставила.

По дороге к Сэндэру, в главном зале, она увидела ребёнка лет четырёх, на руках у служанки, болен, несли к лекарю. Ребёнок повернул голову, посмотрел на неё и заплакал. Громко, как будто его обожгли, хотя, разумеется, его никто не обжигал. Служанка испуганно ускорила шаг, прижав ребёнка крепче, и скрылась за поворотом, и плач ещё какое-то время доносился из-за колонны. Так бывало всегда. Служанки в приюте уже знали и прятали детей, когда приходила она. Говорили — у неё глаза мёртвой. Может, и так. Может, дети чувствуют что-то. Чувствуют, что у неё внутри пустое место, как колодец и дети боятся упасть в этот колодец, и плачут и вырываются у нее из рук, когда она пытается немного их поддержать и убаюкать. Как его. Но Рената продолжала ходить — к чужим детям, в приют, за три талера монахине, — потому что иначе голос замолкал, а молчащего голоса она вынести не могла. И вся жизнь Ренаты теперь вращалась вокруг этого единственного факта, как мотылёк вокруг свечи, и с примерно тем же ожидаемым исходом.

Секретарь канцлера, молодой человек с лицом дохлой рыбы попытался заставить её ждать. «Его сиятельство занят», — сказал он тем тоном, каким говорят «его сиятельство занят» все секретари на свете, и Рената, не говоря ни слова, посмотрела на него, — просто посмотрела, — и где-то на тре-

твѣй секундѣ этого молчаливого поединка рот секретаря открылся, и закрылся, и снова открылся, и он пошѣл докладывать, и Сэндэр, разумеется, принял её немедленно. Сэндэр понимал, лучше любого мужчины, котораго Рената встречала, что в этом дворце есть лишь три человека, которые действительно имеют значение, и двое из них сейчас в этой комнате.

— Рената, — сказал Сэндэр, и в голосе его была та особенная теплота, с какой произносят имя покойника на поминках. — Какая приятная неожиданность.

— Это, — сказала Рената, опускаясь в кресло напротив без приглашения, — не неожиданность. Ни для вас, ни для меня. Так что давайте не будем.

Сэндэр улыбнулся. Та самая полуулыбка. Та, что никогда не доходила до глаз. Рената эту полуулыбку знала наизусть, как знала наизусть всё, что касалось Сэндэра, — включая ту родинку у него за левым ухом, о которой он сам, вероятно, не подозревал, и в том числе и тот факт, что левая рука у него в последнее время стала холоднее правой, что, при его диагнозе, было, мягко говоря, дурным знаком.

— Архиепископ мѣртв, — сказал он.

— Я слышала.

— От кого?

— От стен. Стены в этом дворце, дорогой канцлер, говорят громче, чем люди. И, в отличие от людей, стены не лгут.

— И что говорят стены?

— Стены говорят, — сказала Рената, — что на груди у архиепископа клеймо Семерых. Что убийца не был обычным еретиком, потому что обычные еретики не проходят через охрану собора. Что кто-то очень хотел, чтобы Эльдред молчал. И что кто-то... — она сделала паузу, выбирая следующее слово с тщанием женщины, выбирающей нож, — ...очень хотел, чтобы мы знали, кто это сделал.

Мама, выпусти меня.

Арвелл, тихо, с задержкой. Рената не отвела глаз от Сэндэра. Она давно научилась не дрогнуть снаружи, что бы ни происходило внутри.

Сэндэр ничего не сказал. Он сложил пальцы домиком, жестом, который, по его мнению, выражал задумчивость, а по мнению Ренаты, выражал желание спрятать дрожащие руки, — и на среднем пальце левой руки кольцо поймало серый свет из окна. Семь лучей. Рената заметила его давно, лет шесть назад. Сэндэр чуть побледнел. Костяшки побелели, челюсть стиснута. Приступ, как у нее, когда голос особенно громкий. Они оба болели. По-разному, но болели. Один от опухоли, которая медленно, но верно ела его, как крыса, которой не дано наружу, и которая потому грызёт изнутри всё, до чего дотянется. Другая от горя, которое она носила, как носят тяжёлый плащ, и к которому привыкла так, что уже не замечала веса.

— У вас есть... теория, — сказал он наконец. Это не было вопросом.

— Если позволите... у меня есть несколько. Но главная из них такова. Эльдред создал ересь. Эльдред управлял ересью. Эльдред был хозяином, а не жертвой. И теперь кто-то убил хозяина. Вопрос — кто.

— И ваш ответ?

— Мой ответ, — сказала она медленно, и медленность была не для эффекта, а для того, чтобы успеть досчитать до трёх и решить, сколько именно правды она позволит себе сегодня, — зависит от того, что вы мне скажете. Потому что, дорогой канцлер, я подозреваю, что вы знали об Эльдред больше, чем знает церковь. И я подозреваю, что у вас есть... план. На случай, если Эльдред однажды умрёт. И этот план, мне кажется, не включает меня.

Сэндэр откинулся в кресле. Полуулыбка дрогнула — на одно мгновение — и превратилась во что-то другое. Что-то более холодное. Что-то говорящее: ты умнее, чем я полагал. Затем это прошло, полуулыбка вернулась, и Сэндэр снова был вежливым, отполированным, идеальным человеком, за которого его принимал двор.

— Рената, — сказал он. — Вы, разумеется, правы. У меня есть план. У меня всегда есть план. Но план этот... включает вас. Иначе я бы не разговаривал с вами сейчас. Я бы разговаривал с кем-то, кто пришёл бы вас арестовать.

— Это, — сказала Рената, — было бы неразумно.

— Вот именно. И я, как вы знаете, всегда разумен.

— Если позволите... — Рената чуть наклонила голову. —

Разум без цели — это упражнение в пустомыслии. Какова ваша цель, канцлер?

Сэндэр помолчал. Полуулыбка не изменилась. Но он смотрел на неё оценивающе, как смотрят на нож, который могут вынуть из ножен, а могут и не вынуть. Потом сказал тихо:

— Арденция, Рената, больна. Арденция уже давно больна. Король — мальчик. Церковь — клика стариков, которые жгут собственных подданных, чтобы сохранить видимость власти. Двор — болото. Народ — топливо. Кто-то должен всё это перестроить. Кто-то, у кого хватает воли использовать то, что церковь прячет под камнями. Семеро — это, если вам угодно, инструмент. И нет ничего страшного, пока ты тот, кто его держит.

— А вы, — сказала Рената, — полагаете, что вы — тот, кто держит.

— Я знаю это.

Рената ничего не ответила. Она подумала: он верит в то, что говорит. Он действительно верит, что сможет управлять тем, что церковь прячет от людей. Это было, в своём роде, прекрасно. И в тоже время безумно, потому что управлять тем, что прячут два тысячелетия - примерно то же самое, что управлять погодой или чумой. Сэндэр хотел власти. Рената хотела сына. Каждый из них полагал, что использует другого, это и было настоящим союзом.

Мама, ты придёшь? Мама, ты скоро?

Скоро, мой хороший. Скоро... Канцлер думает, что он хозяин. Но я иду к тебе. И Семеро тебя отдадут. Они обещали.

— Хорошо, — сказала она наконец. — Я с вами. Пока. С одним условием.

— Каким?

— Когда придёт время... когда Семеро отдадут... я первая. До вас. До церкви. До кого бы то ни было.

Сэндэр посмотрел на неё. Долго. Потом медленно кивнул, как человек, который что-то отметил про себя.

— Разумеется, — сказал он. — Вы первая.

Они поговорили ещё двадцать минут. Согласовали, что будут делиться сведениями, что будут координировать действия, что, словами Сэндэра, облегчат друг другу путь. Каждое слово было ложью. Ни один из них не верил ни единому слову.

Она вышла из крыла канцлера с лёгким кивком и ещё более лёгким соглашением, и шла назад через дворцовые коридоры, а ум её был в другом месте, в маленькой комнате в Венмарке, где семилетний мальчик умирал. Лекари приходили. Лекари называли цену в три талера. У Ренаты было полталера и обручальное кольцо, которое можно заложить. Она заложила бы, заложила бы без колебаний, но кольцо давало, в лучшем случае, талер, а двух не было, и взять их было неоткуда. Лекари, надо отдать им должное, не торговались, а просто ушли, потому что лекари в Венмарке, в отличие от лекарей в Грандмарке, по крайней мере честны в том, что

не лечат в долг. Арвелл умер на рассвете, у неё на плече, с маленькой горячей рукой, сжимающей ей большой палец.

В то утро она дала клятву. Нет, не Богу. Бог, возможно, и был в той комнате, но Бог ничего не сделал. Не церкви, потому что церковь была Божья. Не мужу, муж уже напивался в ту же могилу. Она дала клятву тому, что забрало её сына. Если в этом мире есть нечто, что отнимает детей у матерей, то я найду его, и я заставлю его вернуть сына. А если нет ничего — то я сожгу мир, допускающий это, и сяду посреди огня, и буду ждать.

Через два года после его смерти — живот. Маленький, мягкий, тёплый. Шесть месяцев. Лекари приходили и все говорили одно: «Нет ребёнка, госпожа. Это истерия». И это было самым жестоким, потому что это значит одновременно «ты безумна» и «ты лжёшь». А на седьмом месяце схватки. Настоящие схватки и настоящая боль. Она тужилась, и ждала — крика, ребёнка, еще раз сына, но ничего. Воздух. Только воздух. Тишина тогда в той комнате, где должен был быть крик, была такой громкой, что Рената почти оглохла от неё.

После этого Арвелл замолчал и молчал три дня. Рената не могла это вынести. Она взяла нож. Провела по бедру. И голос:

Мама. Мама, я тут.

С тех пор — так. Когда он молчит, нож. Когда нож, он говорит. Так и живёт.

Семеро были ответом. Она нашла их, или они нашли её,

год спустя после родов, через женщину при дворе, чьего мужа сожгли за ересь. Книга говорила о Семерых, что ждут под миром, что могут вернуть взятое, если уплачена цена. Цена была её душой. Рената обдумала это четыре секунды просто потому, что, возможно, платить было нечем. Потом рассмеялась — тихим, сухим смехом, первым смехом после смерти Арвелла — и согласилась. Словно душа ещё была. Словно она не умерла в той маленькой комнате в Венмарке, на плече, до сих пор чувствующем вес маленькой горячей руки.

Она вернулась к себе. Отпустила служанку. Закрыла дверь. Задёрнула занавеску. Комната стала тёмной, серой и тихой — такой, как она любила.

На маленьком столике у окна, за ширмой, стояла вещь, которую она никому не показывала. Круг из тёмного дерева, размером с обеденную тарелку. На нём, вырезанная её собственной рукой маленьким острым ножом, семь лучей, расходящихся от центра. Каждый луч был царапиной, той же самой, что и шрамы на бёдрах, только здесь, на дереве и навсегда. Круг она сделала в тот год, когда перестала быть матерью. Везла его из города в город, из дома в дом, из дворца во дворец, никому не показывая, никому не говоря. Это была её тайна, и её алтарь, и её клятва, и её сын.

Она опустила перед кругом на колени. Ей было сорок пять, колени жаловались, и ей было всё равно — вставала раньше на колени на более твёрдые полы и подольше. Она три дня стояла на коленях на каменном полу комнаты сына

после его смерти, пока муж не пришёл и не поднял её. Она позволила, потому что не осталось сил отказывать. А через год мужу тоже стало всё равно, и он ушёл в вино. Рената не молилась так, как молилась церковь: не склоняла голову и не складывала руки. Она не просила ни милости, ни благодати. Просто смотрела на семь лучей и говорила голосом таким тихим, что даже стены не могли слышать, а стены в этом дворце слышали всё.

— Я скоро, — сказала она. — Я скоро. Подождите ещё немного. Канцлер думает, что он хозяин. Церковь думает, что она знает. Никто не знает. Никто, кроме нас. Подождите. Я иду. Я иду к вам. И вы... вы вернёте мне его. Вы обещали.

Мама. Я жду. Семеро ждут. Мы все ждём.

Тихо, как будто он рядом, с задержкой, как, видимо, и всегда теперь. Рената улыбнулась. Маленькой, бледной улыбкой, которая на её лице, выглядела страшнее, чем крик.

Семь лучей не ответили, никогда и не отвечали, ей и не нужно было. Ей обещали семь лет назад умирающая женщина в маленькой комнате, с книгой на коленях и улыбкой на губах: Семеро ждут. Семеро всегда ждут. И когда придёт время — они отдадут. Они всегда отдают. Рената поверила умирающей, поверила книге, поверила семи лучам, вырезанным на тёмном дереве. Рената поверила голосу. Хотя знала, что голос не он. Верила, и её вера не нуждается в объекте, а нуждается лишь в верующем, в её положении этого было достаточно.

Архиепископ мёртв. Это был первый шаг. Церковь будет искать убийцу и не найдёт, потому что убийца был спичкой, а огонь придёт потом. Мир сгорит так, как того и заслуживает, когда механизм лихорадок, врачей и серебра наконец треснет и рухнет — в этом огне Рената будет стоять, а рядом с ней, с маленькой горячей рукой в её руке, будет стоять семилетний мальчик с тёмными глазами, который скажет «мама».

Рената поднялась, колени жаловались. Убрала деревянный круг за ширму. Отодвинула занавеску и серый утренний свет хлынул в комнату, озарив её лицо, оно было спокойным, и глаза были сухими, и в осторожном изгибе рта не было ничего, чтобы хоть один придворный признал скорбь. Только руки чуть дрожали — единственная трещина в маске, которую она не могла заделать. Но руки прятались в складках платья, как шрамы прятались под платьем, а боль в животе пряталась за спокойным лицом. Всё было спрятано и все было на месте.

У неё была работа: был канцлер, которого надо вести, церковь, которую надо сбивать со следа. У неё была фракция скорбящих женщин, рассыпанных по дворцам Арденнии, что ждали её слова. А ещё вечером она пойдёт в приют за рекой, даст монахине три талера, монахиня приведёт мальчика лет четырёх, Рената возьмёт его на руки, мальчик заплачет сразу, как плачут все дети, которых она берёт, и монахиня отведёт его обратно. Рената побудет одна. Потом ночь, снова

шрам на бедре — свежий, через два дня после старого. И утро, щётка в волосах, один день без еды, и голос с задержкой, но здесь — ради одного: дожидаться, когда Семеро отдадут. Когда Арвелл вернётся. Когда она снова станет живой.

— Это, мне кажется, было бы разумно, — сказала она пустой комнате, семи лучам за ширмой, маленькой горячей руке, которую она всё ещё чувствовала на своём большом пальце.

Рената одёрнула платье, пригладила волосы. Открыла дверь и выступила в серый дворцовый коридор, где стены слушали, придворные шептались и мир собирался перемениться, а она — Рената вэн Доль, фрейлина, скорбящая мать, добровольная еретичка, терпеливый союзник и враг, мать с обещанием, которое она дала умирающей женщине семь лет назад — была готова.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.